

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМАС МАНН

Смерть в Венеции



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - МЮНХЕН 2004

Густав Ашенбах, или фон Ашенбах, как он официально именовался со дня своего пятидесятилетия, в теплый весенний вечер 19... года — года, который в течение столь долгих месяцев грозным оком взирал на наш континент, — вышел из своей мюнхенской квартиры на Принцрегентштрассе и в одиночестве отправился на дальнюю прогулку. Возбужденный дневным трудом (тяжким, опасным и как раз теперь потребовавшим от него максимальной тщательности, осмотрительности, проникновения и точности воли), писатель и после обеда не в силах был приостановить в себе работу продуцирующего механизма, того «*totus animi continuus*»*, в котором, по словам Цицерона, заключается сущность красноречия; спасительный дневной сон, остро необходимый при все возраставшем упадке его сил, не шел к нему. Итак, после чая он отправился погулять, в надежде, что воздух и движение его приободрят, подарят плодотворным вечером.

Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой, было душно, как в августе, и в той части, что прилежала к городу, — полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели все более тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минутами поглядел на оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный путь, но уже не через парк, а по полю, почувствовав усталость. К тому же над Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай, который напрямик доставит его в город.

По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души. Ни на Унгарерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив в отблесках уходящего дня безмолвствовало византийское строение часовни. На его фасаде, украшенном греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых тонах, были еще симметрически расположены надписи, выведенные золотыми буквами, — предложения, касающиеся загробной жизни, вроде: «Внидут в обитель господ» или: «Да светит им свет вечный». В ожидании трамвая Ашенбах развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике, повыше двух апокалиптических зверей, охранявших лестницу, человека, чья необычная наружность дала его мыслям совсем иное направление.

Вышел ли он из бронзовых дверей часовни, или не приметно приблизился и поднялся к ней с улицы, осталось невыясненным. Особенно не углубляясь в этот вопрос, Ашенбах скорее склонялся к первому предположению. Среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый, этот человек принадлежал к рыжеволосому типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовая шляпа, покрывавшая его голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев. Этому впечатлению, правда, противоречили рюкзак за плечами — как у заправского баварца — и желтая грубошерстная куртка; с левой руки, которою он подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать, дождевой плащ, в правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно оперев ее в пол, скрестив ноги и бедром

* непрерывное движение души (лат.)

опираясь на ее рукоятку. Задрав голову, так что на его худой шее, торчавшей из отложных воротничков спортивной рубашки, отчетливо и резко обозначился кадык, он смотрел вдаль своими белесыми, с красными ресницами глазами, меж которых, в странном соответствии со вздернутым носом, залегали две вертикальные энергические складки. В позе его — возможно, этому способствовало возвышенное и возвышающее местонахождение — было что-то высокомерно созерцательное, смелое, дикое даже. И то ли он состроил гримасу, ослепленный заходящим солнцем, то ли его лицу вообще была свойственна некая странность, только губы его казались слишком короткими, оттянутые кверху и книзу до такой степени, что обнажали десны, из которых торчали белые длинные зубы.

Возможно, что Ашенбах, рассеянно, хотя и пытливо, разглядывая незнакомца, был недостаточно деликатен, но вдруг он увидел, что тот отвечает на его взгляд и притом так воинственно, так в упор, так очевидно желая его принудить отвести глаза, что неприятно задетый, он отвернулся и зашагал вдоль заборов, решив больше не обращать внимания на этого человека. И мгновенно забыл о нем. Но либо потому, что незнакомец походил на странника, либо в силу какого-нибудь иного психического или физического воздействия, Ашенбах, к своему удивлению, внезапно ощутил, как неимоверно расширилась его душа; необъяснимое томление овладело им, юношеская жажда перемены мест, чувство, столь живое, столь новое, или, вернее, столь давно не испытанное и позабытое, что он, заложив руки за спину и взглядом уставившись в землю, замер на месте, стараясь разобраться в сути и смысле того, что произошло с ним.

Это было желанье странствовать, вот и все, но оно налетело на него как приступ лихорадки, обернулось туманящей разум страстью. Он жаждал видеть, его фантазия, еще не умиротворившаяся после долгих часов работы, воплощала в единый образ все чудеса и все ужасы пестрой нашей земли, ибо стремилась их представить себе все зараз. Он видел: видел ландшафт, под небом, тучным от испарений, тропические болота, невероятные, сырые, изобильные, подобие дебрей первозданного мира, с островами, топями, с несущими ил водными протоками; видел, как из густых зарослей папоротников, из земли, покрытой сочными, налитыми, диковинно цветущими растениями, близкие и далекие, вздымались волосатые стволы пальм; видел причудливо безобразные деревья, что по воздуху забрасывали свои корни в почву, в застойные, зеленым светом мерцающие воды, где меж плавучими цветами, молочно-белыми, похожими на огромные чаши, на отмелях, нахохлившись, стояли неведомые птицы с уродливыми клювами и, не шевелясь, смотрели куда-то вбок; видел среди узловатых стволов бамбука искрящиеся огоньки — глаза притаившегося тигра, — и сердце его билось от ужаса и непостижимого влечения. Затем виденье погасло, и Ашенбах, покачав головой, вновь зашагал вдоль заборов каменотесных мастерских.

Давно уже, во всяком случае с тех пор как средства стали позволять ему ездить по всему миру когда вздумается, он смотрел на путешествия как на некую гигиеническую меру, и знал, что ее надо осуществлять время от времени, даже вопреки желаниям и склонностям. Слишком занятый задачами, которые ставили перед ним европейская душа и его собственное я, не в меру обремененный обязанностями творчества, бежавший рассеяния и потому неспособный любить шумный и пестрый мир, он безоговорочно довольствовался созерцанием того, что лежит на поверхности нашей земли и для чего ему нет надобности выходить за пределы своего привычного круга, и никогда не чувствовал искушения уехать из Европы. С той поры, как жизнь его начала клониться к закату и ему уже нельзя было словно от пустой причуды отмахнуться от присущего художнику страха не успеть, от тревоги, что часы остановятся, прежде чем он совершит ему назначенное и отдаст всего себя, внешнее его бытие едва ли не всецело ограничилось прекрасным городом, ставшим его родиной, да незатейливым жильем, которое он себе выстроил в горах и где проводил все дождливое лето.

И то, что сейчас так поздно и так внезапно нашло на него, вскоре было обуздано разумом, упорядочено смолоду усвоенной самодисциплиной. Он решил довести свое творение, для

которого жил, до определенной точки, прежде чем переехать в горы, и мысль о шатанье по свету и, следовательно, о перерыве в работе на долгие месяцы показалась ему очень беспутной и разрушительной; всерьез об этом нечего было и думать. Тем не менее он слишком хорошо знал, на какой почве взросло это нежданное искушение. Порывом к бегству, говорил он себе, была эта тоска по дальним краям, по новизне, эта жажда освободиться, сбросить с себя бремя, забыться — он бежит прочь от своей работы, от будней неизменного, постылого и страстного служения. Правда, он любил его, едва ли не любил даже изматывающую, ежедневно обновляющуюся борьбу между своей гордой, упорной, прошедшей сквозь многие испытания волей и этой все растущей усталостью, о которой никто не должен был знать, которая ни малейшим признаком упрощения, вялости не должна была сказаться на его творении. И все же неблагоприятно слишком натягивать тетиву, упрямо подавлять в себе столь живое и настойчивое желание. Он стал думать о своей работе, о том месте, на котором застрял сегодня, так же как и вчера, ибо оно равно противилось и терпеливой обработке, и внезапному натиску. Он пытался прорваться через препятствие или убрать его с дороги, но всякий раз отступал с гневом и содроганием. Не то чтобы здесь возникли какие-нибудь особенные трудности, нет, ему мешала мнительная нерешительность, оборачивающаяся уже постоянной неудовлетворенностью собой. Правда, в юные годы эту неудовлетворенность он считал сущностью и природой таланта, во имя ее он отступал, обуздывал чувство, зная, что оно склонно довольствоваться беспечной приблизительностью и половинчатой завершенностью. Так неужто же поработанные чувства теперь мстят за себя, отказываясь впредь окрылять и живить его искусство? Неужто они унесли с собою всю радость, все восторги, даруемые формой и выражением? Нельзя сказать, что он писал плохо; преимуществом его возраста было по крайней мере то, что с годами в нем укрепилась спокойная уверенность в своем мастерстве. Но, хотя вся немецкая нация превозносила это мастерство, сам он ему не радовался; писателю казалось, что его творению недостает того пламенного и легкого духа, порождаемого радостью, который больше, чем глубокое содержание (достоинство, конечно, немаловажное), составляет счастье и радость читающего мира. Он страшился лета, страшился быть одиноким в маленьком доме, с кухаркой, которая стряпает ему, и слугою, который подает на стол эту стряпню; страшился привычного вида горных вершин и отвесных скал, когда думал, что они снова обступят его, вечно недовольного, вялого. Значит, необходимы перемены, толика бродячей жизни, даром потраченные дни, чужой воздух и приток новой крови, чтобы лето не было тягостно и бесплодно. Итак, в дорогу — будь что будет! Не в слишком дальнюю, до тигров он не доедет. Ночь в спальном вагоне и две-три недели отдыха в каком-нибудь всемирно известном уголке на ласковом юге...

Так он думал, когда с Унгарерштрассе, грохоча, подкатил трамвай, а встав на подножку, окончательно решил посвятить сегодняшней вечер изучению карты и железнодорожных маршрутов. На площадке он вспомнил о человеке в бастовой шляпе, сотоварище своего пребывания здесь, отнюдь не беспоследственного пребывания, и огляделся по сторонам. Куда исчез этот человек, он так и не понял, но ни на прежнем месте, ни возле остановки, ни в вагоне трамвая его не было.

Творец могучей и точной прозаической эпопеи о жизни Фридриха Прусского, терпеливый художник, долго, с великим тщанием вплетавший в ковер своего романа «Майя» множество образов, множество различных человеческих судеб, соединившихся под сенью одной идеи; автор интересного и сильного рассказа, названного им «Ничтожный», который целому поколению благодарной молодежи явил пример моральной решительности, основанной на глубочайшем знании; наконец (и этим исчерпываются основные произведения его зрелой поры), создатель страстного трактата «Дух и искусство», конструктивную силу и диалектическое красноречие которого самые требовательные критики ставили вровень с Шиллеровым рассуждением о наивной и сентиментальной поэзии, Густав Ашенбах родился в Л. — окружном городе Силезской провинции, в семье видного судейского чиновника. Предки его, офицеры, судьи

и чиновники, служа королю и государству, вели размеренную, пристойно-скудную жизнь. Дух более пылкий воплотился у них в личности некоего проповедника; более быструю и чувственную кровь в прошлом поколении привнесла в семью мать писателя, дочка чешского капельмейстера. От нее шли и признаки чуждой расы в его внешности. Сочетание трезвой, чиновничьей добросовестности с темными и пламенными импульсами породило художника, именно этого художника.

Поелику Ашенбах всем своим существом стремился к славе, он, отнюдь не отличаясь особой скороспелостью, сумел благодаря характерному, очень индивидуальному чекану своего письма рано занять видное общественное положение. Имя себе он составил еще будучи гимназистом, а через десять лет научился представлять, не отходя от письменного стола, и в нескольких ответных строчках, всегда кратких (ибо многие взывают к тому, кто преуспел и заслужил доверие), управлять своей славой. В сорок лет, усталый от тягот и превратностей своей прямой работы, он должен был ежедневно просматривать груды писем, снабженных марками всех стран нашей планеты.

Равно далекий от пошлости и эксцентрических вычур, его талант был словно создан для того, чтобы внушать доверие широкой публике и в то же время вызывать восхищенное, поощрительное участие знатоков. И так, еще юношей, со всех сторон призываемый к подвигу — и к какому подвигу! — он не знал досуга и беспечной молодости. Когда на тридцать пятом году жизни он захворал в Вене, один тонкий знаток человеческих душ заметил в большой компании: «Ашенбах смолodu жил вот так, — он сжал левую руку в кулак, — и никогда не позволял себе жить этак», — он разжал кулак и небрежно уронил руку с подлокотника кресел. Этот господин попал в точку. Моральная отвага здесь в том и заключалась, что по природе своей отнюдь не здоровяк, он был только призван к постоянным усилиям, а не рожден для них.

Врачи запретили мальчику посещать школу, и он вынужден был учиться дома. Выросший в одиночестве, без товарищей, Ашенбах все же сумел вовремя понять, что принадлежит к поколению, в котором редкость отнюдь не талант, а физическая основа, необходимая для того, чтобы талант созрел, — к поколению, рано отдающему все, что есть у него за душой, и к старости обычно уже бесплодному. Но его любимым словом было «продержаться», — и в своем романе о Фридрихе Пруссом он видел прежде всего апофеоз этого слова-приказа, олицетворявшего, по его мнению, суть и смысл героического стоицизма. К тому же он страстно хотел дожить до старости, так как всегда считал, что истинно великим, всеобъемлющим и по праву почитаемым может быть только то искусство, которому дано было плодотворно и своеобразно проявить себя на всех ступенях человеческого бытия.

Поскольку задачи, которые нагужал на него талант, ему приходилось нести на слабых плечах, а идти он хотел далеко, то прежде всего он нуждался в самодисциплине, — к счастью, это качество было его наследственным уделом с отцовской стороны. В сорок, в пятьдесят лет, в том возрасте, когда другие растрачивают время, предаются сумасбродствам, бездумно откладывают выполнение заветных планов, он начинал день с того, что подставлял грудь и спину под струи холодной воды, и затем, установив в серебряных подсвечниках по обе стороны рукописи две высокие восковые свечи, в продолжение нескольких часов честно и ревностно приносил в жертву искусству накопленные во сне силы. И было не только простительно, но знаменовало его моральную победу то, что непосвященные ошибочно принимали весь мир «Майи» и эпический фон, на котором разворачивалась героическая жизнь Фридриха, за создание собранной силы, единого дыхания, тогда как в действительности его творчество было плодом ежедневного кропотливого труда, напластовавшего в единый величественный массив сотни отдельных озарений, и если хорош был весь роман, вплоть до мельчайших деталей, то лишь оттого, что его творец с неотступным упорством, подобным тому, что некогда заставило пасть его родную провинцию, годами выдерживал напряжение работы над одною и той же вещью, отдавая этой работе только свои самые лучшие, самые плодотворные часы.

Для того чтобы значительное произведение тотчас же оказывало свое воздействие вглубь и вширь, должно существовать тайное сродство, более того, сходство между личной судьбой автора и судьбой его поколения. Людям неведомо, почему они венчают славою произведение искусства. Отнюдь не будучи знатоками, они воображают, что открыли в нем сотни достоинств, лишь бы подвести основу под жгучую свою заинтересованность; но истинная причина их восторга это нечто невесомое — симпатия. Ашенбах как-то обмолвился в одном из проходных мест романа, что почти все великое утверждает себя как некое «вопреки» — вопреки горю и муке, вопреки бедности, заброшенности, телесным немощам, страсти и тысячам препятствий. Но это было больше, чем ненароком брошенное замечание; это было знание, формула его жизни и славы, ключ к его творению. И не удивительно, что эта формула легла в основу характеров и поступков его наиболее оригинальных персонажей.

Относительно нового, многократно повторенного и всякий раз сугубо индивидуального типа героя, излюбленного этим писателем, один очень неглупый литературный анатом давно уже написал, что он «концепция интеллектуальной и юношеской мужественности», которая-де «в горделивой стыдливости стискивает зубы и стоит не шевелясь, когда мечи и копыя пронзают ей тело». Это было сказано остроумно и точно, несмотря на известную пассивность формулировки. Ведь стойкость перед лицом рока, благообразие в муках означают не только стратотерпие; это активное действие, позитивный триумф, и святой Себастиан — прекраснейший символ если не искусства в целом, то уж, конечно, того искусства, о котором мы говорим. Стоит заглянуть в этот мир, воссозданный в рассказе, и мы увидим: изящное самообладание, до последнего вздоха скрывающее от людских глаз свою внутреннюю опустошенность, свой биологический распад; физически ущербленное желтое уродство, что умеет свой тлеющий жар раздуть в чистое пламя и взнестись до полновластия в царстве красоты; бледную немочь, почерпнувшую свою силу в пылающих недрах духа и способную повергнуть целый кичливый народ к подножию креста, к своему подножию; приятную манеру при пустом, но строгом служении форме; фальшивую, полную опасностей жизнь, разрушительную тоску и искусство прирожденного обманщика.

У того, кто вгляделся в эти и в им подобные судьбы, невольно возникало сомнение, есть ли на свете иной героизм, кроме героизма слабых. И что же может быть современнее этого? Густав Ашенбах был поэтом тех, кто работает на грани изнеможения, перегруженных, уже износившихся, но еще не рухнувших под бременем, всех этих моралистов действия, недоростков со скудными средствами, которые благодаря сосредоточенной воле и мудрому хозяйствованию умеют, пусть на время, обрядиться в величие. Их много, и они герои эпохи. Все они узнали себя в его творении; в нем они были утверждены, возвышены, воспеты; и они умели быть благодарными и прославлять его имя.

Он был молод и неотесан, как его время, дававшее ему дурные советы, он спотыкался, впадал в ошибки, перед всеми обнаруживал свои слабые стороны, словом и делом погрешал против такта и благоразумия. Но он выработал в себе чувство собственного достоинства, к которому, по его утверждению, всегда стремится большой талант, более того, можно сказать, что все его развитие было восхождением к достоинству, сознательным и упорным, сметающим со своего пути все препоны сомнений и иронии.

Живая, духовно незначительная общедоступность воплощения приводит в восторг буржуазное большинство, но молодежь, страстную и непосредственную, захватывает только проблематическое. Ашенбах ставил проблемы и был непосредствен, как юноша. Он был оброчным духа, хищнически разрабатывал залежи, перемалывал зерно, предназначенное для посева, выбалтывал тайны, брал под подозрение талант, предавал искусство, и покуда его творения услаждали, живили и возвышали благоговееющих почитателей, он, еще молодой художник, ошеломлял зеленых юнцов циническими рассуждениями о сомнительной сущности искусства и служения ему.

Но, видимо, ничто не пресыщает благородный и сильный дух больше и окончательнее, чем пряная и горькая прелесть познания. И, конечно, тяжелодумная, добросовестнейшая

основательность юноши поверхностна по сравнению с многоопытной решимостью зрелого мужа и мастера — отрицать знание, бежать его, с высоко поднятой головой чрез него переступить, коль скоро оно способно умерить, ослабить, обесчестить волю. И разве нашумевший рассказ «Ничтожный» не был взрывом острой неприязни к непристойному психологизированию века, который воплощен здесь в образе мягкотелого и вздорного мерзавца, из бессилия, порочности и этической неполноценности толкающего свою жену в объятия безбородого юнца, полагая при этом, что глубина чувств служит оправданием его низости. Могучее слово, презрением клеймившее презренное, возвещало здесь отход от нравственной двусмысленности, от всякого сочувствия падению; оно зачеркивало дряблую сострадательность пресловутого речения «все понять — значит все простить», и то, что здесь готовилось, нет, что здесь уже свершилось, было тем «чудом возрожденного простодушия», о котором немного позднее решительно, хотя и не без некоей таинственной завуалированности, говорилось в диалоге того же автора. Странное стечение обстоятельств! А может быть, именно следствием этого «возрождения», этого нового достоинства и строгости, и стало почти невероятно обостренное чувство красоты, благородной ясности, простоты и ровности формы, которое проявилось именно в ту пору и навсегда сообщило его произведениям не только высокое мастерство, но и классическую статью? Но нравственная целеустремленность по ту сторону знания, по ту сторону разрешающего и сдерживающего постижения — разве она в свою очередь не ведет к нравственному упрощению мира и души человеческой, а посему к усилению тяги к злему, подзапретному, нравственно недопустимому? И разве у формы не два лика? Ведь она одновременно нравственна и безнравственна — нравственна как результат и выражение самодисциплины, безнравственна же, более того, антинравственна, поскольку, в силу самой ее природы, в ней заключено моральное безразличие, и она всеми способами стремится склонить моральное начало под свой гордый самодержавный скипетр.

Как бы там ни было! Развитие равнозначно участи, и если его сопровождает доверие масс, широкая известность, может ли оно протекать как другое, лишенное блеска и не ведающее требований славы? Только безнадежная богема скучает и чувствует потребность посмеяться над большим талантом, когда он, прорвав кокон ребяческого беспутства, постигает достоинство духа, усваивает строгий чин одиночества, поначалу исполненного жестоких мук и борений, но потом возымевшего почетную власть над людскими сердцами. Сколько игры, упорства и упоения включает в себя самовыращивание таланта! Нечто официально-воспитательное проявилось и в писаниях Густава Ашенбаха в зрелые годы; в его стиле не было уже ни молодой отваги, ни тонкой игры светотеней, он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незыблемым, даже формальным и формулообразным, так что невольно вспоминалась легенда о Людовике XIV, под конец жизни будто бы изгнавшем из своей речи все пошлые слова. В то время ведомство народного просвещения включило избранные страницы Ашенбаха в школьные хрестоматии. Ему было по сердцу, и он не ответил отказом, когда некий немецкий государь, только что взошедший на престол, пожаловал певцу «Фридриха» в день его пятидесятилетия личное дворянство.

После нескольких беспокойных лет и нескольких попыток где-нибудь обосноваться он поселился в Мюнхене и с тех пор жил там в почете и уважении, лишь в редких случаях становящихся уделом духа. Брак, в который он вступил еще почти юношей с девушкой из профессорской семьи, был расторгнут ее смертью. У него осталась дочь, теперь уже замужняя. Сына же никогда не было.

Густав Ашенбах был чуть пониже среднего роста, брюнет с бритым лицом. Голова его казалась слишком большой по отношению к почти субтильному телу. Его зачесанные назад волосы, поредевшие на темени и на висках уже совсем седые, обрамляли высокий, словно рубцами изборожденный лоб. Дужка золотых очков с неоправленными стеклами врезалась в переносицу крупного, благородно очерченного носа. Рот у него был большой, то дряблый, то вдруг подтянутый и узкий; щеки худые, в морщинах; изящно изваянный подбородок переделывала

мягкая черточка. Большие испытания, казалось, пронесли над этой часто страдальчески склоненной набок головой; и все же эти черты были высечены резцом искусства, а не тяжелой и тревожной жизни. За этим лбом родилась сверкающая, как молния, реплика в разговоре Вольтера и короля о войне. Эти усталые глаза с пронизывающим взглядом за стеклами очков видели кровавый ад лазаретов Семилетней войны. Искусство и там, где речь идет об отдельном художнике, означает повышенную жизнь. Оно счастливит глубже, пожирает быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставляет следы воображаемых или духовных авантур; даже при внешне монастырской жизни оно порождает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли может породить жизнь, самая бурная, полная страстей и наслаждений.

Множество дел, светских и литературных, почти две недели после той прогулки продержали в Мюнхене объятую жаждой странствий Ашенбаха. Наконец он велел привести в порядок загородный дом к своему приезду через месяц и во второй половине мая отбыл с ночным поездом в Триест, где остановился на сутки, чтобы следующим утром сесть на пароход, идущий в Полу.

Так как он искал чуждого, несхожего с обычным его окружением, и вдобавок, чтоб до него было рукой подать, то избрал для своего временного жительства остров в Адриатическом море, неподалеку от берегов Истрии, который в последние годы стал пользоваться широкой известностью; остров с красиво изрезанной линией скал в открытом море и с населением, одетым в живописные лохмотья и изъясняющимся на языке, странно чуждом нашему слуху. Однако дожди, тяжелый влажный воздух и провинциальное, состоящее из одних австрийцев общество в отеле, равно как и невозможность тихого душевного общения с морем, даруемого только ласковым песчаным берегом, раздражали его. Вскоре он убедился, что сделал неправильный выбор. Куда его тянет, он точно не знал, и вопрос «так где же?» для него оставался открытым. Он принялся изучать рейсы пароходных линий, ища взглядом вглядывался в дали, как вдруг нежданно и непреложно перед ним возникла цель путешествия. Если за одну ночь хочешь достичь сказочно небывалого, несравнимого, куда направиться? О, это ясно! Зачем он здесь? Конечно же он ошибся. Туда и надо ехать сразу. Больше он уже не будет медлить с отъездом со злополучного острова. Через полторы недели после прибытия быстрая моторка в тумане раннего утра уже увозила Ашенбаха и его багаж к Военной гавани, где он ступил на землю лишь затем, чтобы тотчас же подняться по трапу на мокрую палубу парохода, уже разводившего пары для отплытия в Венецию.

Это было выдавшее виды итальянское судно, допотопной конструкции, все в копоти, мрачное. В похожей на пещеру искусственно освещенной каюте, куда тотчас же провел Ашенбаха учтиво скаливший зубы горбатый, неопрятный матрос, за столом, в шапке набекрень и с огрызком сигары в зубах, сидел человек с физиономией старомодного директора цирка, украшенной козлиной бородкой, и, не переставая ухмыляться, деловито записывал фамилии пассажиров, пункт назначения и выдавал билеты. «В Венецию», — повторил он за Ашенбахом и, вытянув руку, обмакнул перо в кашеобразные остатки чернил на дне наклонно стоящей чернильницы. «В Венецию, первый класс! Прошу!» Он нацарапал несколько размашистых каракуль, посыпал написанное голубым песком, подождал, покуда он сбежит в глиняную чашку, сложил бумагу желтыми костлявыми пальцами и снова принялся писать. «Отлично выбранная цель путешествия, — болтал он при этом. — Ах, Венеция! Что за город! Город неотразимого очарования для человека образованного — в силу своей истории, да и нынешней прелести тоже!» В округлой быстроте его движений и пустой болтовне, ее сопровождавшей, было что-то одурманивающее и отвлекающее; он словно бы старался поколебать решение пассажира ехать в Венецию. Деньги он принял торопливо и с ловкостью крупье выбросил сдачу на суконную, всю в пятнах обивку стола. «Приятно развлекаться, сударь, — присовокупил он с театральным поклоном. — Считаю за честь вам в этом способствовать... Прошу, господа!..» — тут же крикнул он, взмахнув рукою, словно от пассажиров отбою не было, хотя никто, кроме Ашенбаха, уже не брал билетов. Ашенбах вернулся на палубу.

Облокотившись одною рукой о поручни, он глядел на праздную толпу, собравшуюся на набережной посмотреть, как отваливает пароход, и на пассажиров, уже взошедших на борт. Те, кто ехал во втором классе — мужчины и женщины, — скопились на нижней палубе, используя в качестве сидений свои узлы и чемоданы. На верхней стояли кучкой молодые люди, по-видимому приказчики из Пола, весьма возбужденные предстоявшей им поездкой в Италию. Явно гордясь собою и предстоявшим плаванием, они болтали, смеялись и, перегнувшись через перила, кричали насмешливые словечки товарищам, которые с портфелями под мышкой спешили по набережной в свои конторы, грозя тросточками счастливым на борту. Один из них, в светло-желтом, чересчур модном костюме, с красным галстуком и лихо отогнутыми полями шляпы, выделялся из всей компании своим каркающим голосом и непомерной возбужденностью. Но, попристальнее в него вглядевшись, Ашенбах с ужасом понял: юноша-то был поддельный. О его старости явно свидетельствовали морщины вокруг рта и глаз и тощая жилистая шея. Матовая розовость щек оказалась гримом, русые волосы под соломенной шляпой с пестрой ленточкой — париком, желтые, ровные зубы, которые он скалил в улыбке, — дешевым изделием дантиста. Лихо закрученные усики и эспаньолка были подчеркнуты. И руки его с перстнями-печатками на обоих указательных пальцах тоже были руками старика. Ашенбах, содрогаясь, смотрел на него и на то, как он ведет себя в компании приятелей. Неужто они не знают, не видят, что он старик, что не по праву оделся в их щегольское пестрое платье, не по праву строит из себя такого, как они? Нет, видимо, им это было невдомек, они привыкли терпеть его в своей компании и беззлобно отвечали на его игривые пинки в бок. Как могло это случиться? Ашенбах прикрыл рукою лоб и сомкнул веки, горячие от почти бессонной ночи. Ему казалось, что все на свете свернуло со своего пути, что вокруг него, как в дурном сне, начинает уродливо и странно искажаться мир, и для того, чтобы остановить этот процесс, надо закрыть лицо руками, а потом отнять их и снова осмотреться. Но в этот миг какое-то новое ощущение поразило его — в бессмысленном испуге он открыл глаза и увидел, что тяжелый и темный корпус корабля отделяется от стенки причала. Под стук машины, дававшей то передний, то задний ход, дюйм за дюймом ширилась полоса грязной, радужно мерцающей воды между набережной и бортом парохода, который, проделав ряд неуклюжих маневров, повернул наконец свой бушприт в сторону открытого моря. Ашенбах перешел на штирборт, где горбун уже раскинул для него шезлонг, и стюард в засаленном фраке осведомился, что ему угодно будет заказать.

Небо было серое, ветер влажный. Гавань и острова остались позади; за туманной дымкой из поля зрения быстро исчезли берега. Пропитанные влагой хлопья сажки ложились на вымытую палубу, которой никак не удавалось просохнуть. Через какой-нибудь час над нею растянули тент: зарядил дождь.

Закутавшись в пальто, с книгой на коленях, путешественник отдыхал, и часы текли для него неприметно. Дождь перестал, парусиновый тент убрали. Нигде на горизонте ни полоски земли. Под хмурым куполом неба лежал невероятно огромный диск открытого моря. Но в пустом, нерасчлененном пространстве наши чувства теряют меру времени и мы влачимся в неизмеримом. Призрачно странные фигуры, старый фат, козлиная борода, продавшая ему билет, с расплывчатыми жестами, с нелепыми речами затеснились в мозгу Ашенбаха, и он уснул.

В полдень его повели завтракать в кают-компанию, похожую на коридор, так как в нее выходили двери кают, там в конце длинного стола, во главе которого стоял его прибор, приказчики и старик среди них уже с десяти часов пировали с весельчаком-капитаном. Завтрак был скудный, и Ашенбах быстро покончил с ним. Его тянуло наверх, снова взглянуть на небо: не собирается ли оно просветлеть над Венецией.

Он почти не сомневался, что так оно и будет, ибо этот город всегда встречал его сиянием.

Но небо и море оставались хмуро свинцовыми, время от времени моросил дождь, и Ашенбах смирился с тем, что по водной дороге прибудет в иную Венецию, чем та, к которой

он приближался по сухому пути. Он стоял у фок-мачты, вперив взор в морские дали, и ждал земли. Ему вспоминался задумчивый восторженный поэт в миг, когда перед его глазами всплыли из этих вод купола и колокольни его мечты, и он бормотал про себя отдельные строфы величественной песни, что сложили тогда его благоговение, счастье и печаль. Поневоле растроганный этим уже отлитым в форму чувством, он спрашивал свое строгое и усталое сердце, суждены ли новый восторг, новое смятение, запоздалая авантюра чувства ему, досужему скитальцу?

Но вот справа вынырнул плоский берег, рыбацьи лодки уже сновали по морю, возник Остров купальщиков; пароход, оставив его слева, на тихом ходу проскользнул в узкий порт, названный по имени этого острова, и остановился в лагуне перед скопищем пестрых лагун на берегу в ожидании баркаса санитарной службы.

Его дожидались целый час. Пассажиры как бы прибыли и не прибыли; никто не спешил, и каждый был охвачен нетерпением. Молодые жители Пола, подстегиваемые патриотизмом, а может быть, и сигналами военных рожков, которые доносились по воде со стороны общественных садов, высыпали на палубу и, разгоряченные выпитым асти, стали кричать «ура!» марширующим вдоль берега берсальерам. Но поистине омерзительно было смотреть на то, в какое состояние привело фатоватого старика незаконное панибратство с молодежью. Старая его голова уже не могла противостоять хмелю, как молодые и крепкие головы его приятелей; он был пьян самым жалким образом. С осоловелым взором, зажав сигарету в трясущихся пальцах, он всеми силами старался сохранить равновесие, хотя хмель раскачивал его из стороны в сторону, и не двигался с места, чувствуя, что упадет при первом же шаге, и при всем этом выказывал жалкую резвость, хватая за пуговицу любого, кто к нему приближался, нес какой-то вздор, подмигивал, хихикал, по-дурацки над кем-нибудь подшучивая, водил перед его носом, морщинистым указательным пальцем с кольцом-печаткой и с гнусным лукавством облизывал губы кончиком языка. Ашенбах смотрел на него, нахмурившись, и опять им овладевало смутное чувство, что мир, несомненно, выказывал пусть чуть заметное, но уже неостановимое намерение преобразиться в нелепицу, в карикатуру; хорошо еще, что обстоятельства не позволили Ашенбаху долго носиться с этим чувством: машина заработала, застучала, пароход, остановленный так близко от цели, снова двинулся вперед по каналу св. Марка.

Итак, он опять видит это чудо, этот из моря встающий город, ослепительную вязь фантастических строений, которую республика воздвигла на удивление приближающимся мореходам, воздушное великолепие дворца и Мост Вздохов, колонну со львом и святого Марка на берегу, далеко вперед выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проеме моста над каналом; любуясь, он думал, что приезжать в Венецию сухим путем, с вокзала, все равно, что с черного хода входить во дворец, и что только так, как сейчас, на корабле, из далей открытого моря, и должно прибывать в этот город, самый диковинный из всех городов.

Машина застопорила, гондолы, теснясь, понеслись к пароходу, по спущенным сходням на борт поднялись таможенные чиновники и немедленно приступили к исполнению своих обязанностей. Наконец пассажиры получили право покинуть пароход. Ашенбах объяснил, что ему нужна гондола доехать и довести багаж до пристани, где стоят катера, курсирующие между городом и Лидо: он хочет поселиться у моря. Его намерение одобряют, через борт сообщают о нем гондольерам, которые препираются между собой на местном диалекте. Но сойти на землю ему не удастся: загородил дорогу его собственный сундук, который с трудом тащат и волочат по шаткой лесенке. Поэтому минуту-другую он не может противостоять назойливости мерзкого старика, спяну решившего любезно напутствовать чужеземца. «Желаем хорошо провести время, — блеет он, расшаркиваясь. — Не поминайте лихом! Au revoir, excusez et bon jour*, ваше превосходительство!» Его рот увлажняется, он закрывает глаза, облизывает уголки рта, под дряблой старческой губой топорщится крашенная эспаньолка, «Примите мои

* до свидания, извините и добрый день (франц.)

комплименты, душечка, милочка, красотка...» — лопочет он, посылая воздушный поцелуй. И тут у него вставная верхняя челюсть соскакивает на нижнюю губу. Ашенбах, улучив момент, удаляется. «Милочке, милочке моей», — слышатся за его спиной воркующие, глухие, с трудом выдавливаемые звуки, когда, держась за веревочные поручни, он спускается по трапу.

Кто не испытывал мгновенного трепета, тайной робости и душевного стеснения, впервые или после долгого перерыва садясь в венецианскую гондолу? Удивительное суденышко, без малейших изменений перешедшее к нам из баснословных времен, и такое черное, каким из всех вещей на свете бывают только гробы, — оно напоминает нам о неслышных и преступных похождениях в тихо плещущей ночи, но еще больше о смерти, о дрогах, заупокойной службе и последнем безмолвном странствии. И кто мысленно не отмечал, что сиденье этой лодки, гробово-черное, лакированное и черным же обитое кресло, — самое мягкое, самое роскошное и нежащее сиденье на свете? Когда Ашенбах на него опустился у ног гондольера, напротив своего багажа, заботливо сложенного на носу, он опять отчетливо это почувствовал. Гребцы продолжали переругиваться, угрожающе жестикулируя, сердито и непонятно. Но особая тишина города на воде, казалось, непрямо впитывала в себя эти голоса, делала их бесплотными и рассеивала над водами. В гавани было тепло. Парное легкое дуновение сирокко временами касалось усталого путешественника. Погруженный в податливую стихию подушек, он закрыл глаза, наслаждаясь столь же непривычной, сколь и сладостной расслабленностью. «Путь наш короток, — думал он, — а я бы хотел, чтоб он длился вечно!» Мерное покачивание уносило его от сутолоки и шума голосов.

Тихо, все тише становилось вокруг него. Уже слышны только всплески весла, глухие удары волны о нос гондолы, который словно парит над водою, — острый, черный, на самом конце вооруженный подобием алебарды, — да еще нечто третье — бормотанье гондольера, отрывочное, сквозь зубы, в ритм взмахам весла. Ашенбах открыл глаза и удивился — лагуна сделалась шире, и они двигались по направлению к открытому морю. Нельзя, видно, так уж предаваться безмятежности, надо было требовать выполнения своего приказа.

— Значит, к пристани, — полубернувшись, сказал он.

Бормотанье смолкло. Ответа не последовало.

— Значит, к пристани, — повторил он и повернулся, чтобы посмотреть в лицо гондольеру, который, стоя во весь рост позади него, четко обрисовывался на фоне бледного неба. Это был человек с неприятной, даже свирепой физиономией, одетый в синюю матросскую робу, подпоясанную желтым шарфом, в соломенной шляпе, местами расплетшейся и давно потерявшей форму, но лихо заломленной набекрень. Весь склад его лица, так же как светлые курчавые усы под коротким курносом носом, безусловно не имели в себе ничего итальянского. Несмотря на худобу, казалось бы делающую его непригодным для ремесла гондольера, он весьма энергично орудовал веслом, при каждом взмахе напряживая все тело. Раза два при большом усилии он поджимал губы, обнажая два ряда белых зубов. Нахмутив рыжеватые брови и глядя поверх головы приезжего, он вдруг сказал решительно, даже грубовато:

— Вы едете на Лидо.

Ашенбах отвечал:

— Конечно. Но я нанял гондолу только затем, чтобы доехать до площади Святого Марка. Там я пересяду на вапоретто.

— На вапоретто, сударь, вам ехать нельзя.

— Почему, собственно?

— Потому что вапоретто не перевозят багажа.

Ашенбах вспомнил, что это действительно так, и промолчал. Но резкий, наглый и столь неприятный здесь в отношении иностранца тон показался ему непозволительным. Он сказал:

— Это уж мое дело. Может быть, я собираюсь сдать свой багаж на хранение. Вам придется повернуть.

Тишина была полная. Только весло всплескивало да волна глухо ударялась о нос гондолы. Затем опять послышалось невнятное бормотанье: гондольер беседовал сквозь зубы сам с собой.

Что было делать? Один в лодке со странно неприветливым и угрюмо решительным человеком, разве мог бы наш путешественник настоять на своем? Но как мягко было бы ему покоиться на подушках, не вздумай он возмущаться! Разве не желал он, чтобы этот путь длился долго, вечно? Самое разумное предоставить вещам идти, как они идут, а главное — самое приятное. Какие-то расслабляющие чары исходили от его сиденья, от этого низкого кресла, обитого черным, так сладостно покачивавшегося при ударах весла своенравного гондольера за его спиной.

Смутное чувство, что он попал в руки преступника, на мгновение шевельнулось в Ашенбахе, но не пробудило в нем мысли об энергичной самозащите. Еще досаднее, думал он, если все сведется к простому вымогательству. Некое подобие чувства долга или гордости, как бы воспоминание, что надо предупредить беду, заставило его еще раз собраться. Он осведомился:

— Сколько вы хотите за работу?

И, глядя поверх его головы, гондольер ответил:

— Вы заплатите.

Было совершенно очевидно, что надо на это сказать. Ашенбах почти машинально произнес:

— Я ничего, ровно ничего вам не заплачу, если вы меня завезете не туда, куда мне надо.

— Вы хотите на Лидо.

— Но не с вами.

— Я хорошо вас везу.

«Это правда, — подумал Ашенбах и опять размяк. — Правда, ты хорошо меня везешь! Даже если ты заришься на мой бумажник и ударом весла в спину отправишь меня в Аид, это будет значить, что ты вез меня хорошо».

Однако ничего подобного не произошло. Напротив, неподалеку появилась лодка с бродячими музыкантами, мужчинами и женщинами, которые пели под аккомпанемент гитар и мандолин; назойливо догоняя гондолу, они едва не касались ее борта и оглашали тишину над водой корыстными звуками итальянских песен для иностранцев. Ашенбах бросил монету в протянутую с лодки шляпу. И опять стало слышно бормотание гондольера, отрывочно беседовавшего с самим собой.

Покачиваясь на кильватерной волне идущего в город парохода, они наконец прибыли на место. Двое муниципальных чиновников, заложив руки за спину и не сводя глаз с лагуны, прохаживались по берегу. Ашенбах вышел из гондолы и ступил на мостки, поддерживаемый одним из тех вооруженных багром стариков, что непременно стоят на всех пристанях Венеции; и так как у него не нашлось мелочи, он направился в расположенный около мола отель, чтобы разменять деньги и по собственному усмотрению рассчитаться с гондольером. В вестибюле ему выдают мелкие купюры, он возвращается, его чемоданы уже сложены на тачку, а гондола и гондольер исчезли.

— Удрал, — говорит старик с багром. — Дурной человек, сударь, человек без патента! Один только у нас и есть такой. Другие позвонили сюда по телефону. Он заметил, что его ждут, и улизнул.

Ашенбах пожал плечами.

— Господин проехал задаром, — сказал старик и протянул шляпу. Ашенбах бросил в нее монету. Он велел везти свой багаж в отель и пошел следом за тачкой по аллее; по белым цветам цветущей аллее с тавернами, лавками и пансионатами по обе стороны, что, пересекая остров, спускалась к морю.

В обширный отель Ашенбах вошел не с главного хода, а через садовую террасу и, не задерживаясь в вестибюле и в следовавшем за ним огромном холле, направился прямо в контору. Так как он заранее дал знать о своем прибытии, его встретили с услужливым почтением. Администратор, маленький, тихий, льстиво-предупредительный человечек с черными усами, одетый в сюртук французского покроя, поднялся с ним в лифте на второй этаж и указал ему его комнату, очень приятно выглядевшую, с мебелью вишневого дерева, множеством очень пахучих цветов и высокими окнами, из которых открывался вид на море. После того как администратор удалился, Ашенбах подошел к одному из них, — служитель в это время вносил и размещал в номере его чемоданы, — и стал смотреть на пляж, почти безлюдный в эти часы, и на пасмурное море, которое, как всегда во время прилива, посылало на берег невысокие, длинные, покойно и равномерно набегавшие волны.

Чувства того, кто предается созерцанию одиноко и молчаливо, расплывчатее и в то же время глубже, чем если б он находился на людях, его мысли весомее, прихотливее, и на них неизменно лежит налет печали. Картина мира, ощущения, которые легко можно было бы потушить единым взглядом, смешком, обменом мнений, его занимают больше чем следует; в молчании они углубляются, становятся значительным событием, авантюрой чувств, неизгладимым впечатлением. Одиночество порождает оригинальное, смелое, пугающе прекрасное — поэзию. Но оно порождает и несуразицу, непозволительный абсурд. Так, дорожные перипетии, гнусный старый фронт с его лопотаньем о красоте и отверженный гондольер, не получивший своих заработанных грошей, и сейчас еще тревожили душу путешественника. Нимало не затрудняя разум, не давая, собственно, даже материала для размышлений, все это тем не менее по самой своей сути представлялось ему необычно странным и в странности своей тревожным. Меж тем он глазами приветствовал море и радовался, что так близка теперь, так достижима Венеция. Наконец он отошел от окна, освежил лицо водою, отдал дополнительные распоряжения горничной, ибо хотел быть как можно более удобно устроенным, и велел лифтеру в зеленой ливрее отвезти себя вниз.

Он выпил чаю на террасе, выходящей на море, затем спустился на прибрежный бульвар и прошел изрядный кусок в направлении отеля Эксельсиор, Когда он возвратился, уже было время переодеться к ужину. Он проделал это неторопливо и обстоятельно, так как привык работать, одеваясь, и все же спустился в зал слишком рано. Там, впрочем, уже находилось немало гостей, между собой незнакомых и притворно друг другом не интересующихся, но с одинаковым нетерпением ожидавших ужина. Взяв со стола газету, он опустился в кожаное кресло и стал наблюдать за собравшимися. Общество приятно отличалось от того, которое он встретил на острове в начале своего путешествия.

Перед ним открывался горизонт, терпимо обнимавший все и вся. Слышалась приглушенная разноголосица языков. Вечерний костюм, этот мундир благопристойности, как бы сливал воедино человеческие особи разных рас и сословий. Был здесь сухопарый американец с длинным лицом, многочисленная русская семья, немецкие дети с французскими боннами. Явно преобладал славянский элемент. Рядом с Ашенбахом говорили по-польски.

За бамбуковым столиком под надзором гувернантки сидела компания подростков, совсем еще зеленая молодежь. Три молоденькие девушки, лет, видимо, от пятнадцати до семнадцати, и мальчик с длинными волосами, на вид лет четырнадцати. Ашенбах с изумлением отметил про себя его безупречную красоту. Это лицо, бледное, изящно очерченное, в рамке золотисто-медвяных волос, с прямой линией носа, с очаровательным ртом и выражением прелестной божественной серьезности, напоминало собою греческую скульптуру лучших времен и, при чистейшем совершенстве формы, было так неповторимо и своеобразно обаятельно, что Ашенбах вдруг понял: нигде, ни в природе, ни в пластическом искусстве, не встречалось ему что-либо более счастливо сотворенное. Далее ему бросилось в глаза явное различие меж воспитательными принципами, применяемыми к мальчику и его сестрам, что сказывалось даже в одежде. Наряд молодых девиц, — старшая из них уже могла сойти за взрослую, — был так

незатейлив и целомудрен, что не только не красил их, но скорее даже уродовал. Из-за строгого монастырского платья, аспидно-серого цвета, полудлинного, скучного, нарочито мешковатого покроя, с белыми отложными воротничками в качестве единственного украшения, фигуры их казались приземистыми или лишенными грации. Приглаженные и туго стянутые волосы сообщали лицам молодых девиц монашески пустое, ничего не говорящее выражение. Здесь, несомненно, сказывалась власть матери, и не подумавшей распространить на мальчика педагогическую суровость, необходимую, по ее мнению, в воспитании девочек. Его жизнь, видимо, протекала под знаком нежного потворства. Никто не решался прикоснуться ножницами к его чудесным волосам; как у «Мальчика, вытаскивающего занозу», они кудрями спадали ему на лоб, на уши, спускались с затылка на шею. Английский матросский костюм с широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его еще совсем детских, но узких рук, со всеми своими выпущками, шнурами и петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и богатства. Он сидел вполоборота к Ашенбаху, за ним наблюдавшему, выставив вперед правую ногу в черном лакированном туфле, подперевшись кулачком, в небрежно изящной позе, не имевшей в себе ничего от почти приниженной чопорности его сестер. Не болен ли он? Ведь золотистая тьма волос так резко оттеняет бледность его кожи цвета слоновой кости. Или он просто забалованный любимчик, привыкший к потачкам и задабриванию? Ашенбаху это показалось наиболее вероятным. Артистические натуры нередко обладают предательской склонностью воздавать хвалу несправедливости, создающей красоту, и принимать сторону аристократической предпочтенности.

В холле уже появился официант и по-английски объявил: «Кушать подано!» Собравшиеся мало-помалу скрывались за стеклянной дверью ресторана. Хлопали двери лифтов, опоздавшие торопливо проходили мимо Ашенбаха. За дверью приступили к трапезе, но юные поляки все еще сидели за бамбуковым столиком, и Ашенбах, уютно устроившись в мягком кресле, ждал вместе с ними: ведь глаза его созерцали красоту.

Наконец гувернантка, маленькая тучная особа с багровым румянцем, подала своим питомцам знак подняться. Высоко вздернув брови, она отодвинула стул и поклонилась высокой женщине, одетой в серое с белым, единственным украшением которой служили великолепные жемчуга.

Осанка этой женщины, холодная и величавая, то, как были зачесаны ее чуть припудренные волосы, покроем ее платья, все было исполнено той простоты, которая равнозначна хорошему вкусу повсюду, где благочестие неотъемлемо от аристократизма. Она могла бы быть женой немецкого сановника. Нечто сказочно пышно сообщали ее облику только украшения, поистине бесценные, — серьги с подвесками и тройная, очень длинная нить крупных, как вишни, матово мерцающих жемчужин.

Дети поспешно вскочили и склонились, целуя руку матери, которая со сдержанной улыбкой на холе, хотя и несколько усталом, остроносом лице, смотря поверх их голов, говорила что-то гувернантке по-французски. Затем она прошла к застекленной двери. Дети последовали за ней: девочки по старшинству, за ними гувернантка, мальчик замыкал шествие. По какой-то причине он оглянулся, прежде чем скрыться за дверью, и его необычные, сумеречно-серые глаза встретились со взглядом Ашенбаха. Погруженный в созерцание, уронив газету на колени, он смотрел вслед удалявшемуся семейству.

В том, что он видел, не было, собственно, ничего удивительного. Дети ждали матери, чтобы идти к столу, почтительно ее приветствовали и, — входя в зал, вели себя, как принято в свете. Однако все это проделывалось так четко, с такой подчеркнутой благовоспитанностью, с таким чувством долга и самоуважения, что Ашенбаха это странным образом взволновало. Он еще немного помедлил и затем направился в зал, где метрдотель указал ему столик очень далекий, как он отметил с мимолетным сожалением, от того, за которым расположилось польское семейство.

Усталый, но в то же время возбужденный, он развлекал себя во время скучной трапезы абстрактными, более того, трансцендентными размышлениями; думал о том, что закономерное

должно вступить в таинственную связь с индивидуальным, дабы возникла человеческая красота, отсюда он перешел к общим проблемам формы и искусства и решил наконец, что его мысли и находки напоминают смутные и счастливые озарения во сне, наяву оказывающиеся пустейшими и ни на что не пригодными. Выйдя из ресторана, он покурил, посидел, прошелся по парку, напоенному вечерними ароматами, рано улегся в постель и крепким, непробудным сном, несмотря на пестрые сновидения, проспал всю ночь.

Назавтра погода не стала лучше. Дул береговой ветер. Под небом, затянутым белесой пеленой, в тупом спокойствии простиралось море, с прозаически близким горизонтом и так далеко откатившееся от берегов, что рядами обнажились песчаные отмели. Ашенбаху, когда он открыл окно, почудилось, что он слышит гнилостный запах лагуны.

На душе у него стало тяжело. Он сразу же подумал об отъезде. Давно уже, много лет назад, после радостных весенних дней его застигла здесь такая же погода, и, удрученный, расстроенный, он бежал из Венеции. А сейчас разве не охватил его тот же приступ тоски, разве опять не стучит у него в висках, не тяжелеют веки? Снова менять местопребывание слишком хлопотно, но если ветер не переменится, нечего и думать о том, чтобы здесь оставаться. Для верности он решил не распаковывать всех своих вещей. В девять часов он позавтракал в буфете — небольшом помещении между холлом и залом ресторана.

Здесь царила торжественная тишина — гордость больших отелей. Официанты неслышно ступали в своих мягких туфлях. Стук чайных ложек о чашки, полусшепотом сказанное слово — вот и все, что слышалось здесь. В углу, наискосок от двери и через два столика от него, Ашенбах заметил польских девиц с гувернанткой. В тугих синих холщовых платьях с белыми отложными воротничками и белыми же манжетами, с затянутыми пепельными волосами и еще красноватыми веками, они сидели очень прямо, любезно передавая друг другу вазочку с вареньем. Завтракать они уже кончали. Мальчика с ними не было.

Ашенбах улыбнулся. «Ах ты, маленький феак! — подумал он. — Тебе, не в пример сестрам, дано преимущество спать сколько угодно». И, внезапно развеселившись, мысленно процитировал: «Частая смена одежд, и покой, и нагретые ванны...»

Он не спеша позавтракал, принял почту от портье, который вошел, держа в руках свою расшитую галунами фуражку, и, не выпуская изо рта папиросы, распечатал несколько конвертов. Потому-то он еще и оказался здесь при появлении сонливца, которого ждали за столиком в углу.

Мальчик вошел в застекленную дверь и среди полной тишины наискось пересек залу, направляясь к своим. Походка его, по тому как он держал корпус, как двигались его колени, как ступали обутые в белое ноги, была неизъяснимо обаятельна, легкая, робкая и в то же время горделивая, еще более прелестная от того ребяческого смущения, с которым он дважды поднял и опустил веки, вполборота оглядываясь на незнакомых людей за столиками. Улыбаясь и что-то говоря на своем мягком, расплывающемся языке, он опустился на стул, и Ашенбах, увидев его четкий профиль, вновь изумился и даже испугался богоподобной красоты этого отрока. Сегодня на нем была легкая белая блуза в голубую полоску с красным шелковым бантом, завязанным под белым стоячим воротничком. Но из этого воротничка, не очень даже подходящего ко всему костюму, в несравненной красоте выросла голова его головы — головы Эрота в желтоватом мерцании паросского мрамора, — с тонкими суровыми бровями, с прозрачной тенью на висках, с ушами, закрытыми мягкими волнами спадающих под прямым углом кудрей.

«Как красив!» — думал Ашенбах с тем профессионально холодным одобрением, в которое художник перед лицом совершенного творения рядит иногда свою взволнованность, свой восторг. Мысли его текли дальше: «Право же, если бы море и песок не манили меня, я бы остался, куда ты остаешься здесь!» Итак, он поднялся, прошел, почтительно приветствуемый служащими отеля, через холл, спустился с большой террасы и по деревянным мосткам зашагал к огороженному пляжу для постояльцев отеля. Там он попросил босоногого

старика в полотняных штанах, в матросской тельняшке и соломенной шляпе, исправляющего должность сторожа, показать оставленную для него кабинку, велел вынести стол и кресло наружу, на деревянную засыпанную песком площадку, и удобно расположился в шезлонге, который подтащил поближе к морю, где песок был золотисто-желтый, как воск.

Вид пляжа, культуры, беспечно и чувственно наслаждающейся на краю стихии, занимал и радовал его больше, чем когда-либо. Серое и плоское море уже ожило, расцветилось детьми, шлепающими по воде, пловцами, пестрыми фигурами, которые, заложив руки за голову, лежали на песчаных отмелях. Другие орудовали веслами, сидя в маленьких бескилевых лодочках, раскрашенных синим и красным, и громко хохотали, когда суденышко опрокидывалось. Перед далеко вытянувшимся рядом кабин, на деревянных площадках которых люди сидели, как на верандах, равноправно царили беспечный задор игры и лениво простершийся покой, обмен визитами, болтовня, продуманная элегантность утренних туалетов и нагота, непринужденно и невозмутимо пользующаяся вольностями приморского уголка. У самой кромки моря на влажном и твердом песке бродили купальщики в белых халатах или просторных и ярких пляжных костюмах. Справа высилась замысловатая песчаная крепость, возведенная детьми и утыканная флажками всех стран. Продавцы раковин, сладостей и фруктов, опустившись на колени, раскладывали свой товар. Слева, перед одной из кабинок, стоявших поперек к остальным и к морю и с этой стороны замыкавших пляж, расположилось русское семейство: бородатые мужчины с крупными зубами, вялые и рыхлые женщины, девица из прибалтийских провинций, которая, сидя у мольберта, с возгласами отчаяния писала море, двое добродушно некрасивых детей, старая нянька, повязанная платком, с угодливыми повадками рабыни. Они благодарно наслаждались жизнью, без усталости окликали непослушных, заигравшихся детей, — шутили, благо в запасе у них имелось несколько итальянских слов, с комичным стариком, у которого покупали сласти, целовали друг друга в щеки, нисколько не заботясь о наблюдающих эту интимность.

«Итак, я остаюсь, — думал Ашенбах. — Лучшего мне не найти!» И, скрестив руки на коленях, он стал смотреть в морскую даль, которая ускользала от его взгляда, стусевывалась, укрываясь от него за однотонной туманной дымкой. Ашенбах любил море по причинам достаточно глубоким: из потребности в покое, присущей самоотверженно работающему художнику, который всегда стремится прильнуть к груди простого, стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности явлений; из запретного, прямо противоположного сути его работы и потому тем более соблазнительного тяготения к нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется Ничто. Отдохнуть после совершенного — мечта того, кто радеет о хорошем, а разве Ничто не одна из форм совершенства? И вот, когда он так углубился в созерцание пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала человеческая фигура. И когда Ашенбах отвел взор от бесконечного и с усилием сосредоточился, он увидел, что это все тот же красивый мальчик прошел слева от него по песку. Он шел босиком, видно, собираясь поплескаться в воде; его стройные ноги были обнажены до колен, шел неторопливо, но так легко и гордо, словно весь свой век не знал обуви, шел и оглядывался на поперечные кабинки. Но едва он заметил русскую семью, которая усердно там благодушествовала, как на лицо его набежала туча гневного презрения. Лоб его омрачился, губы вздернулись кверху, и с них на левую сторону лица распространилось горькое дрожанье, как бы разрезавшее щеку; брови его так нахмурились, что глаза глубоко запали и из-под сени бровей заговорили темным языком ненависти. Он потупился, потом еще раз обернулся, словно угрожая, передернул плечом, отмахиваясь, отстраняясь, и оставил врагов в тылу.

Какое-то неуловимое чувство, может быть испуг или нечто сродни уважению и стыду, заставило Ашенбаха отвернуться, сделать вид, что он ничего не заметил. Случайному соглядатаю страсти недостойно воспользоваться увиденным, даже для своих потайных размышлений. Но он был обрадован и потрясен в то же время, иначе говоря — счастлив. Эта вспышка детского национального фанатизма, вызванная благодушнейшей обывательской

идиллией, перенесла божественно-пустое в сферу человеческих отношений, и прекрасное творение природы, казалось бы созданное только для улады глаз, сделалось достойным более глубокого участия. И это неожиданно сообщило и без того примечательному своей красотой образу подростка масштаб, заставляющий относиться к нему не по годам серьезно.

Не оборачиваясь, Ашенбах прислушивался к звонкому и немного слабому голосу мальчика, еще издали окликавшему новых приятелей, которые возились у крепости. Ему отвечали, несколько раз выкрикнув его имя, видимо, уменьшительное; Ашенбах пытался его уловить, но сумел разобрать лишь два мелодических слога — что-то вроде «Адзьо» или, вернее, «Адзьу» с призывным и протяжным «у». Благозвучие этого имени обрадовало Ашенбаха, показалось ему как нельзя более подходящим его носителю. Он несколько раз неслышно его произнес и, успокоенный, занялся своей корреспонденцией.

Раскрыв на коленях маленький дорожный бювар и вооружившись вечным пером, он стал отвечать на некоторые из полученных сегодня писем. Но уже через четверть часа ему показалось обидным отрешаться в мыслях от возможного и высокого наслаждения, подменять его безразличным занятием. Он отбросил перо и бумагу. Он вернулся обратно к морю и очень скоро перестал смотреть на него, отвлеченный голосами подростков, суевившихся у песчаной крепости. Поудобнее устроившись в шезлонге, он стал смотреть вправо, что там делает прелестный Адзио.

Отыскал он его с первого же взгляда: красный бант издали бросался в глаза. Вместе с другими детьми он был занят сооружением из старой доски моста через мокрый ров песчаной крепости и при этом кивал головой, распоряжался, давал какие-то указания. Всех ребят было человек десять, мальчиков и девочек, его лет и младше, наперебой болтавших по-польски, по-французски, а также на балканских наречиях. Его имя произносилось чаще других. Видимо, все домогались его дружбы, он был предметом восхищения и восторга. Один из мальчиков, тоже поляк, которого называли странным именем «Яшу», приземистый, с черными напояженными волосами, в полотняной куртке с кушаком, был, казалось, самым верным его вассалом и другом. Когда работа над песчаным строением была закончена, они в обнимку пошли вдоль пляжа и тот, которого называли «Яшу», поцеловал красавца.

Ашенбаху захотелось погрозить ему пальцем. «Тебе же советую, Критобул, — подумал он и улыбнулся, — отправляйся на год в странствие! Ибо не меньше времени надо тебе, чтобы выздороветь». Потом он позавтракал крупной, спелой земляникой, которую тут же купил у торговца. Стало очень тепло, хотя солнцу так и не удалось пробиться сквозь мгlistую дымку, закрывшую небо. Вялость сковала его дух, чувства же в упоении внимали говору хмельной неимоверной тишины моря. Отгадать, выискать, что же это за имя, которое звучит как «Адзио», казалось этому серьезному человеку достойной задачей, наиважнейшим делом. Наконец с помощью кое-каких польских воспоминаний он установил, что это, вероятно, Тадзио, уменьшительное от Тадеуш.

Тадзио купался, Ашенбах, потерявший было его из виду, заметил вдруг далеко в море его голову и руки, которые он, плавая, поочередно выбрасывал вперед. Море, вероятно, и там было мелкое, но на берегу уже встревожились, из кабинок стали раздаваться женские голоса, выкрикивавшие его имя, и оно заполонило все взморье мягкими своими согласными с протяжным «у» на конце, имя, сладостное и дикое в то же время: «Тадзиу! Тадзиу!» Он вернулся, он бежал с закинутой назад головой, вспенивая ногами сопротивляющуюся воду, и видеть, как это живое создание в своей строгой предмужественной прелести, со спутанными мокрыми кудрями, внезапно появившееся из глубин моря и неба, выходит из водной стихии, бежит от нее, значило проникнуться мифическими представлениями. Словно то была поэтическая весть об изначальных временах, о возникновении формы, о рождении богов. Ашенбах с закрытыми глазами внимал этой песне, зазвучавшей внутри его, и снова думал, что здесь хорошо и что он здесь останется.

Потом Тадзио отдыхал от купанья, лежал на песке, завернувшись в белую простыню, спущенную с правого плеча, и склонив голову на обнаженную руку. И даже когда Ашенбах

не смотрел на него, а прочитывал страницу-другую из взятой с собою книги, он все время помнил, что тот лежит поблизости, — стоит только слегка повернуть голову вправо, и тебе откроется нечто чудно прекрасное. Временами Ашенбаху даже чудилось, что он сидит здесь как страж его покоя, пусть занятый своими делами, но бдительно охраняющий благородное дитя человеческое, там справа, совсем неподалеку. И отеческое благорасположение, растроганная нежность того, кто, ежечасно жертвуя собой, духом своим творит красоту, к тому, кто одарен красотой, наполнила и захватила его сердце.

В полдень он ушел с пляжа, вернулся в отель и на лифте поднялся в свою комнату. Там он долго стоял перед зеркалом, рассматривая свои седые волосы, свое усталое лицо с заострившимися чертами. В эти мгновения он думал о своей славе и о том, что на улицах многие узнают его и благоговейно разглядывают и что этим он обязан своему точно бьющему в цель обаятельному слову. Он вызывал в памяти все, какие только вспомнились, внешние успехи своего таланта, даже дворянскую грамоту, затем спустился ко второму завтраку и в одиночестве сел за свой столик. Когда, быстро покончив с едой, он входил в лифт, целая компания подростков, тоже возвращавшихся с завтрака, ворвалась вслед за ним в эту взмывавшую кверху каморку. Среди них был и Тадзио. Он оказался совсем близко от Ашенбаха, впервые так близко, что тот видел и узнавал его не на расстоянии, как смотрят картину, а почти вплотную, со всеми характерными деталями человеческого облика. Кто-то обратился к Тадзио, он ответил с неопределимо обворожительной улыбкой и, попятившись, с опущенными глазами, тут же вышел на втором этаже. «Красота стыдлива», — решил Ашенбах и стал думать, почему бы, собственно. Меж тем он успел заметить, что зубы у мальчика не совсем хороши, немного неровные, бледные, без белого блеска здоровья, а хрупкие и прозрачные, как при малокровии. «Он слабый и болезненный, — думал Ашенбах, — верно, не доживет до старости». И предпочел не вникать в то чувство удовлетворения и спокойствия, которое охватило его.

Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью, в Венецию. На площади св. Марка он выпил чаю и, верный здешнему своему обыкновению, отправился бродить по улицам. Но на сей раз прогулка принесла с собою полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее.

Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах, воздух был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов и так далее клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тесных тротуарах раздражала, а не развлекала Ашенбаха. Чем дальше он шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сирокко, — возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказывались видеть, грудь стеснило, его бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. Спасаясь от сутолоки деловых улочек, он уходил по мостам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов. На тихой маленькой площади, в одном из тех забытых и зачарованных уголков, которых еще много в недрах Венеции, он присел на край фонтана, отер пот со лба и понял: надо уезжать.

Во второй раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город при такой погоде приносит ему только вред. Упорствовать и оставаться здесь было бы неразумно, надеяться на перемену ветра — бессмысленно. Надо быстро принимать решение. Тотчас же возвратиться домой нельзя. Ни летний дом, ни зимняя квартира не приготовлены к его приезду. Но ведь не только здесь есть море и пляж, найдутся и в другом месте, без этой гнусной лагуны с ее лихорадочными испарениями. Он вспомнил, что ему очень хвалили маленький морской курорт возле Триеста. Почему бы не отправиться туда? И уж конечно без промедления, а то и не приживешься на новом месте. Он счел, что решение принято, и поднялся, на ближайшей стоянке сел в гондолу и по сумрачному лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами со львами, огибая скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными

вывесками на фасадах, отражения которых колебались в зеркале вод, поплыл к площади св. Марка. Нелегко дался ему этот путь, гондольер, радевший об интересах стеклодувных мастерских и кружевных фабрик, то и дело пытался подвинуть его на осмотр или покупку, и если прихотливая красота Венеции уже снова его заворожила, то корыстный торгашеский дух этой падшей царицы отрезвлял и сердил его.

Вернувшись в отель, он еще до обеда заявил администрации, что по непредвиденным обстоятельствам должен завтра утром уехать. Ему выразили сожаления и выписали счет. Он пообедал и провел душный вечер за чтением журналов, сидя в качалке на террасе, выходящей в сад. Прежде чем лечь спать, он упаковал все свои вещи.

Спалось ему неважно, так как вновь предстоящий отъезд его тревожил. Когда он утром открыл окно, небо было по-прежнему пасмурно, но воздух казался свежее; и — тут-то пришло раскаяние. Конечно, его заявление администрации отеля было слишком поспешным и опрометчивым, поступком, совершенным в состоянии невменяемости и болезненного раздражения. Если бы он немного повременил, не действовал бы так круто, а попытался приспособиться к венецианскому воздуху или выждать улучшения погоды, вместо суеты и спешки ему бы теперь предстояло утро на пляже, такое же, как вчера. Но поздно! Сейчас он должен ехать, хотеть того, что хотел вчера. Он оделся и в восемь часов спустился к завтраку.

В небольшом зале буфета еще никого не было. Кое-кто, правда, подошел, покуда он сидел и дожидался заказанного. И уже поднося чашку ко рту, он увидел, что входят польские девицы в неизменном сопровождении гувернантки. Чинные, по-утреннему свежие, с покрасневшими веками, они прошли к своему столику в углу у окна. Тотчас же вслед за ними появился портье, держа в руке фуражку, и напомнил ему, что пора ехать. Автомобиль уже ждет, чтобы отвести его и других отъезжающих в отель Эксельсиор, откуда катер по частному каналу компании доставит их на вокзал. Времени уже в обрез. Ашенбах же полагал, что спешить не приходится. До отхода поезда целый час. Он досадовал на обычай всех отелей раньше времени выпроваживать уезжающих гостей и внушительно заметил портье, что хотел бы спокойно позавтракать. Тот нехотя ретировался, чтобы через пять минут появиться снова. Машина больше не может ждать. Тогда пусть едет и забирает его сундук, раздраженно отвечал Ашенбах. Сам он в положенное время приедет на рейсовом катере и вообще просит заботу об его отъезде предоставить ему самому. Портье поклонился. Ашенбах, радуясь, что избавился от докучных напоминаний, неторопливо закончил свой завтрак и даже спросил газету у официанта. Времени уже и в самом деле оставалось в обрез, когда он наконец поднялся. Случилось, что в это мгновенье вошел Тадзио.

Направляясь к своему столику, он едва не столкнулся с Ашенбахом, скромно потупился перед седовласым высоколобым человеком, тотчас же по милому своему обыкновению мягким взором посмотрел ему прямо в глаза и прошел мимо. «Прощай, Тадзио! Недолго я тебя видел!» — подумал Ашенбах. Как ни странно, он даже проговорил эти слова, неслышно шевеля губами, добавил: «Будь благословен!» — и стал собираться в дорогу. Он роздал чаевые, простился с тихим маленьким администратором во французском сюртуке и, как пришел пешком, так и ушел из отеля, сопровождаемый коридорным, который нес его чемоданы, ушел по белым цветом цветущей аллее, пересекающей остров, которая привела его прямо к пароходной пристани. Он купил билет, сел на место — и то, что за сим последовало, был крестный путь, горестное странствие по глубинам раскаяния.

Пароходик бежал по знакомой дороге через лагуну, мимо площади св. Марка, вверх по Канале Гранде. Ашенбах сидел на круглой скамейке на носу парохода, опершись о поручни и рукой защищая глаза от света. Общественные сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта в своей царственной прелести и тут же скрылась из глаз, потянулся долгий ряд дворцов, а когда водная дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и стремительная. Ашенбах смотрел, и сердце его разрывалось. Атмосферу города, отдававший гнилью, запах моря и болота, который гнал его отсюда, он теперь вдыхал медленно, с

нежностью и болью. Возможно ли, что он не знал, не думал о том, как близко все это его сердцу? То, что сегодня утром было легким сожалением, известной неуверенностью в том, что он поступает правильно, теперь обернулось унынием, подлинной болью, такой душевной тоской, что слезы набегали у него на глаза и он все корил себя за то, что никак этой тоски не предвидел. Тяжкой, минутами просто непереносимой, казалась ему мысль, что он никогда больше не увидит Венеции, что это прощание навеки. Вот уже второй раз этот город делает его больным, второй раз он вынужден очертя голову бежать из него и, значит, впредь должен будет к нему относиться как к чему-то запретному, недозволенному и непосильному, о чем даже и мечтать не стоит. Более того, он чувствовал, что, если уедет теперь, стыд и упрямство уже не позволят ему возвратиться в любимый город, перед которым он дважды оказался физически несостоятельным, и этот разрыв между душевным влечением и телесной возможностью вдруг показался стареющему человеку таким тяжким и важным, а физическое поражение столь постыдным и недопустимым, что он никак не мог понять легкомысленного безволия, которое вчера помогло ему без серьезной борьбы принять и признать это поражение.

И вот уже пароходик приближается к вокзалу, боль и растерянность возрастают до душевного смятения. Отъезд кажется истерзавшемуся Ашенбаху немислимым, возвращение — тем паче. Вконец измученный, он входит в здание вокзала. Уже очень поздно, нельзя терять ни минуты, если хочешь поспеть на поезд. Он хочет и не хочет. Но время теснит его и гонит вперед; он торопится купить билет и среди вокзальной сутолоки ищет дежурного рассыльного из отеля. Тот подходит и сообщает, что сундук уже сдан в багаж. Уже сдан? Да, сдан на Комо. На Комо? Из торопливых сердитых вопросов, из смущенных ответов выясняется, что экспедиция отеля Эксельсиор вместе с другим чужим багажом отправила его сундук в совершенно неверном направлении.

Ашенбах с трудом сохранил на лице соответствующее обстоятельствам выражение. Безудержная радость, необыкновенная веселость потрясали изнутри его грудь. Рассыльный убежал, надеясь еще задержать сундук, и, как и следовало ожидать, вернулся ни с чем. Ашенбах заявил, что никуда без багажа не поедет, а возвратится назад и будет ждать, пока ему не пришлют его сундук. Не ушел ли еще катер? Рассыльный заверил, что он стоит у выхода. Затем, быстро-быстро что-то лопоча, заставил кассира взять обратно билет и поклялся приложить все усилия к тому, чтобы выволить багаж. Так вот и свершилось удивительное событие — отъезжающий через двадцать минут после своего прибытия на вокзал уже возвращался по Канале Гранде на Лидо.

Странно неправдоподобное, постыдное, смешное и нелепое приключение. Из-за пустой превратности судьбы через какие-нибудь полчаса вновь увидеть места, с которыми ты в глубочайшей тоске прощался навеки. Вспенивая воду, проворно и смешно лавируя между гондол и пароходов, быстрое маленькое суденышко мчалось к своей цели, а единственный его пассажир прятал под личиной досадливых сожалений боязливое и радостное возбуждение сбежавшего мальчугана. Время от времени он все еще смеялся над этой неудачей, которая, как он говорил себе, польстила бы и самому удачливому. Теперь предстояло давать объяснения, видеть удивленные лица, но зато потом, утешал он себя, все опять будет хорошо, несчастья-то ведь он избежал, страшную ошибку исправил, то, что должно было остаться позади, сейчас вновь ему открывается, и он будет этим наслаждаться столько, сколько захочет... Что это? Обманывает его быстрое движение или ко всему еще и ветер наконец задул с моря?

Волны бились о бетонированные стенки узкого канала, прорытого через весь остров к отелю Эксельсиор. Автобус дожидался там незадачливого путешественника и — вдоль покрытого барашками моря — повез его в отель. Маленький усатый администратор в сюртуке спустился ему навстречу по широкой лестнице.

В деликатно льстивых словах высказав сожаление по поводу прискорбного происшествия, весьма прискорбного для него лично и для их заведения, он решительно одобрил намерение Ашенбаха дождаться здесь своего багажа. Правда, его комната уже занята, но ему может быть

тотчас же предоставлена другая, ничуть не хуже. «Pas de chance, monsieur»*, с улыбкой заметил швейцарец-лифтер, когда кабина скользнула вверх. Итак, наш беглец снова обосновался здесь, в комнате, по расположению и мебелировке очень мало отличавшейся от прежней.

Усталый, оглушенный вихрем этого странного утра, он вынул вещи из чемодана и опустил в кресло у окна. Море приняло зеленоватый оттенок, воздух казался прозрачнее и чище, пляж пестрел множеством кабин и лодок, хотя небо было по-прежнему хмуро. Ашенбах смотрел в окно, сложив руки на коленях, довольный, что он опять здесь, и недовольный, даже огорченный своей нерешительностью, незнанием самого себя. Так он просидел с добрый час, отдыхая, предаваясь бездумным грезам. Около полудня он увидел Тадзио в полосатом костюме с красным бантом, возвращавшегося с моря по длинным деревянным мосткам. Ашенбах со своей вышки узнал его, собственно, даже раньше, чем увидел, и собрался было подумать что-то вроде: «Эге, Тадзио, вот и ты опять!» Но в ту же секунду почувствовал, что небрежный привет сник и замолк перед правдой его сердца, — почувствовал буйное волнение крови, радость, душевную боль и понял, что отъезд был ему так труден из-за Тадзио.

Он сидел, не шевелясь, никому не видимый со своего места и смотрел внутрь себя. Черты его ожили, брови поднялись, внимательная любопытная и одухотворенная улыбка тронула губы. Затем он поднял голову и, простерев руки, безвольно свисавшие с подлокотников, сделал неторопливое вращательное движение, словно открывал объятия, кого-то заключал в них. Это был приветственный и умиротворенно приемлющий жест.

Отныне нагой бог с пылающими ланитами день за днем гнал по небесным просторам свою пышущую жаром квадригу, и его золотые кудри развевались на ветру, задувшем с востока. Белый шелковистый глянец ложился на морские дали, где лениво ворочались волны. Песок был раскален. Под серебристо-голубой рябью эфира выделялась ржавого цвета парусина, натянутая перед кабинками, и на резко очерченном теневом пятне, которое она отбрасывала, купальщики проводили все утренние часы. Но чудесны были и вечера, когда цветы в парке источали бальзамический аромат, светила вверх водили свой извечный хоровод и бормотанье укрытого тьмою моря неназойливо, потихоньку проникало в души. Эти вечера были радостным залогом новых солнечных дней, полных лишь слегка упорядоченного досуга и украшенных бесчисленными, везде и всюду разбросанными возможностями счастливого случая.

Гость, которого здесь задержала услужливая неудача, был весьма далек от того, чтобы в возвращении своего имущества видеть причину для нового отъезда. Два дня он терпел кое-какие лишения и в ресторане вынужден был появляться в дорожном костюме. Когда же заблудившийся сундук был наконец водворен в его комнату, он тщательно все распаковал, набил шкаф и комод своим добром, решившись пробыть здесь сколько бог на душу положит и радуясь, что отныне в утренние часы будет носить свой шелковый пляжный костюм, к обеду же появляться, как положено, в черном.

В приятную размеренность этого существования он уже втянулся; умиротворяющий, хотя и не лишенный блеска покой такого образа жизни скоро его заморозил. Да и правда, какая же прелесть это сочетание благоустроенной жизни у южного моря с близостью, с постоянной доступностью таинственно-чудесного города! Ашенбах не любил наслаждаться. Праздновать, покоить себя, искать беспечного времяпрепровождения было ему чуждо и несвойственно. Даже в молодые годы он с тревогой и отвращением бежал досуга, торопился обратно к высоким усилиям, к священно-разумному служению своих будней. Только этот уголок земли его расслаблял и дарил счастьем. Лишь изредка, по утрам, когда из-под тента своей кабинки он в мечтательной рассеянности смотрел на синь южного моря, или в теплую ночь под крупно вывездившим небом, возвращаясь на Лидо в гондоле с площади св. Марка, где он вечно задерживался, когда пестрые огни и тающие в воздухе звуки серенад как будто проплывали мимо него, он вспоминал свой деревенский дом в горах, арену летних борений, где тучи тянулись низко над садом, страшные грозы по вечерам задували свечи, и вороны, которых он кормил, раскачивали ветви на соснах. В такие минуты ему казалось, что он сбежал

* незадача, сударь (франц.)

в Элизиум, на самый край земли, где людям суждена легчайшая жизнь, где нет зимы и снега, нет бурь и ливней, где океан все кругом освежает прохладным своим дыханием и дни текут в блаженном досуге, безмятежные, посвященные только солнцу и его празднествам.

Много, почти постоянно, видел Ашенбах мальчика Тадзио; ограниченное пространство и общий для всех распорядок дня способствовали тому, что всегда, разве что с короткими перерывами, прекрасный Тадзио был подле него. Он видел, он встречал его повсюду: в нижних залах отеля, на приятно освежающих водных прогулках в город и обратно из города, среди великолепия площади и, когда случаю угодны были эти встречи, вообще на каждом шагу. Но главным образом утро на пляже со счастливейшей регулярностью предоставляло ему возможность долго и благоговейно изучать прекрасное создание. Да, эта непереносимость счастья, эта ежедневно обновляющаяся милость обстоятельств наполняли его сердце довольством, радостью, и сияющие солнечные дни долгой чередой следовали друг за другом.

Он вставал рано, что прежде делал лишь при жгучей потребности в работе, и раньше других приходил на пляж, когда солнце еще было ласково и море, сияя белизной, покоилось в утренней неге. Ашенбах дружески приветствовал сторожа у загородки, как со старым знакомцем раскланивался с босоногим и белобородым старцем, который уже убирал его кабинку, натягивал коричневый тент и выносил кресло на площадку. Он усаживался, теперь ему принадлежали три или четыре часа. За это время солнце, достигнув зенита, обретало непомерную мощь, море становилось все синее и синее и он мог смотреть на Тадзио.

Ашенбах видел, как он приближался слева, вдоль края воды, как выходил из-за ряда кабинок, или вдруг не без радостного испуга обнаруживал, что не заметил его прихода, что он уже здесь в своем неизменном синем с белым пляжным костюме и в песке, на солнцепеке, затеял обычную возню, вновь предался тому мило-никчемному, досужему времяпрепровождению, которое было одновременно игрой и покоем, хождением взад и вперед, шлепаньем по воде, беготней, лежаньем и плаваньем. Женщины следили за ним с площадки перед кабиной и то и дело звонкими голосами окликали его: «Тадзиу, Тадзиу», а он подбегал к ним, чтобы, оживленно жестикулируя, рассказать о том, что сейчас видел, выложить перед ними то, что нашел, изловил: это были раковины, морские коньки, медузы и боком пятящиеся рачки. Ашенбах ни слова не понимал из того, что говорил мальчик, и если он и произносил самые обыденные слова, для Ашенбаха они сливались в некое туманное благозвучие. Так чужеземная речь мальчика превращалась в музыку, задорное солнце щедро заливало его своим блеском, а возвышенная бездонность моря служила зыбким фоном его красоте.

Вскоре Ашенбах знал каждую линию, каждый поворот этого прекрасного, ничем не стесненного тела, всякий раз наново приветствовал он уже знакомую черту красоты, и не было конца его восхищению, радостной взволнованности чувств. Дамы звали мальчика поздороваться с гостем, подошедшим к кабинке, он выскакивал из воды и мокрый бежал, на ходу встряхивая кудрями, и когда, подавая руку, он всей тяжестью тела опирался на одну ногу, другую едва касаясь земли, в изгибе, в изящном повороте его тела было столько очарования, столько сосредоточенности, обаятельной, целомудренной внимательности к ближнему и аристократической обязательности. Он лежал, вытянувшись во весь рост, по грудь закутанный в купальную простыню, точеной рукой опершись оземь и подбородком уткнувшись в кулачок. Тот, которого звали «Яшу», прикорнул возле, всячески его обхаживал, и, казалось, не было на свете ничего обольстительнее той улыбки, которая мелькала на губах и в глазах этого любимца богов, когда он взглядывал на своего вассала. Он стоял у самой воды, один, в стороне от своих близких, совсем подле Ашенбаха, стоял прямо, заложив руки за голову, медленно раскачиваясь, и мечтал, заглядевшись на синеву, а мелкие волны, набегая, брызгали пеной в его ступни. Медвяные волосы мальчика кольцами вились на висках и на затылке, солнце подсвечивало чуть приметный пушок между лопаток, изящный абрис ребер и гармоническая линия груди проступали сквозь ткань простыни; под мышками у него была гладкая впадинка, как у статуи, кожа под коленями блестела, и голубоватые жилки, казалось, говорили о том, что

это тело сотворено из необычно прозрачного вещества. Какой отбор кровей, какая точность мысли были воплощены в этом юношески совершенном теле! Но разве суровая и чистая воля, которая сотворила во мраке и затем явила свету это божественное создание, не была знакома, присуща ему, художнику? Разве не действовала она и в нем, когда, зажегшийся разумной страстью, он высвободил из мраморной глыбы языка стройную форму, которую провидел духом и являл миру как образ и отражение духовной красоты человека?

Образ и отражение! Его глаза видели благородную фигуру у кромки синевы, и он в восторженном упоении думал, что постигает взором самое красоту, форму как божественную мысль, единственное и чистое совершенство, обитающее мир духа и здесь представшее ему в образе и подобии человеческом, дабы прелестью своей побудить его к благоговейному поклонению. Это был хмельной восторг, и стареющий художник бездумно, с алчностью предался ему. Дух его волновался, всколыхнулось все узнанное и прожитое, память вдруг вынесла на свет старые-престарые мысли, традиционно усвоенные смолоду и доселе не согретые собственным огнем. Разве не читал он где-то, что солнце отвлекает наше внимание от интеллектуального и нацеливает его на чувственное? Оно так дурманит и завораживает, еще говорилось там, наш разум и память, что душа в упоении забывает о себе, взгляд ее прикован к прекраснейшему из освещенных солнцем предметов, более того: лишь с помощью тела может она тогда подняться до истинно высокого созерцания. Амур, право же, уподобляется математикам, которые учат малоспособных детей, показывая им осязаемые изображения чистых форм, — так и этот бог, чтобы сделать для нас духовное зримым, охотно использует образ и цвет человеческой юности, которую он делает орудием памяти и украшает всеми отблесками красоты, так что при виде ее боль и надежда загораются в нас.

Так думал, так чувствовал восторженный Ашенбах. И вот из рокота моря и солнечного блеска соткалась для него чарующая картина. Старый платан под стенами Афин, — та священная сень, напоенная ароматами, которую украшают изваяния и набожные приношения афинян в честь нимф и Ахелоя. Прозрачный ручей спадает к подножию ветвистого дерева и бежит по мелкой округлой гальке, стрекохут цикады. На лужку, чуть покато, так что у лежащего голова покоилась словно на подушке, лежат двое, укрывшись от знойного солнца; один уже в летах, другой еще юноша, один урод, другой красавец, — мудрый рядом с тем, кто создан, чтобы внушать любовь. Вперемежку с любезными словами, с остроумными, поощрительными шутками Сократ поучал Федра тоске по совершенству и добродетели. Он толковал ему о горячей волне испуга, захлестывающей того, кто способен чувствовать, когда его взору открывается подобие вечной красоты; говорил о вожделениях дурного, лишённого благодати человека, который не может вообразить себе красоту, глядя на ее отображение, и не знает благоговейного чувства; еще говорил о священном страхе, нападающем на чистого сердцем при лицезрении богоподобного лица и совершенного тела, — о волнении, которое его охватывает до полной потери самообладания, он едва смеет поднять глаза и преклоняет колени перед тем, кто одарен красотой и готов был бы приносить ему жертвы как изваянию божества, если бы не боялся, что люди ославят его безумцем. Ибо только красота, мой Федр, достойна любви и в то же время зрима; она, запомни это, единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и благодаря чувству — стерпеть. Подумай, что случилось бы с нами, если б все божественное, если бы разум, истина и добродетель являлись нам в чувственном обличье? Разве мы не изошли бы, не сгорели бы от любви, как некогда Семела перед Зевсом? Итак, красота — путь чувственности к духу, — только путь, только средство, мой маленький Федр... И тут, лукавый ухаживатель, он высказал острую мысль: любящий-де ближе к божеству, чем любимый, ибо из этих двоих только в нем живет бог, — претонкую мысль, самую насмешливую из всех когда-либо приходивших на ум человеку, мысль, от которой взялось начало всего лукавства, всего тайного сладострастия, любовной тоски.

Счастье писателя — мысль, способная вся перейти в чувство, целиком переходящее в мысль. Эта пульсирующая мысль, это точное чувство в те дни было подвластно и покорно

одинокому Ашенбаху, мысль о том, что природу бросает в дрожь от блаженства, когда дух в священном трепете склоняется перед красотой. Внезапно ему захотелось писать. Правда, говорят, что Эрот любит праздность, для нее только и создан. Но в этой точке кризиса возбуждение раненного его стрелой обернулось творчеством. Повод, собственно говоря, безразличен. Потребность открыто и весомо высказаться о значительной, жгучей проблеме культуры и вкуса завладела его интеллектом, так сказать, догнала беглеца. Предмет был ему знаком, был составной частью его бытия; желание, чтобы он заблестал в свете его слова, сделалось вдруг непреодолимым. К нему присоединилось второе — работать в присутствии Тадзио, взять за образец облик мальчика, принудить свой стиль следовать за линиями этого тела, представлявшегося ему богоподобным, и вознести его красоту в мир духа, как некогда орел вознес в эфир троянского пастуха. Блаженство слова никогда не было ему сладостнее, никогда он так ясно не ощущал, что Эрот присутствует в слове, как в эти опасно драгоценные часы, когда он, под тентом, за некрашеным столом, видя перед собой своего идола, слыша музыку его голоса, формировал по образцу красоты Тадзио свою прозу, — эти изысканные полторы странички, прозрачность которых, благородство и вдохновенная напряженность чувств, вскоре должны были вызвать восхищение многих. Хорошо, конечно, что мир знает только прекрасное произведение, но не его истоки, не то, как оно возникло; ибо знание истоков, вспоивших вдохновение художника, нередко могло бы смутить людей, напугать их и тем самым уничтожить воздействие прекрасного произведения. Странные часы! Странно изматывающие усилия! На редкость плодотворное общение духа и тела! Когда Ашенбах сложил листки и собрался уходить с пляжа, он почувствовал себя обессиленным, опустошенным, его даже мучила совесть, как после недозволенного беспутства.

На следующее утро, выходя из отеля, он еще с лестницы увидел Тадзио, который направлялся к морю совсем один и уже подходил к ограде пляжа. Желание, простая мысль воспользоваться случаем и свести веселое, непринужденное знакомство с тем, кто, сам того не зная, одарил его таким возвышенным волнением, заговорить с ним, порадоваться его ответу, его взгляду, напрашивалась сама собой. Красивый мальчик шел не торопясь, догнать его ничего не стоило, и Ашенбах ускорил шаги. Он настигает его на мостках за кабинками, хочет положить руку ему на плечо, дотронуться до его головы, какие-то слова, приветливая французская фраза, уже вертятся у него на языке, — и тут он чувствует, что его сердце, возможно, от быстрой ходьбы, стучит как молоток, дыхание его затруднено и заговорить он может разве что сдавленным, дрожащим голосом; он колеблется, хочет овладеть собой, ему вдруг становится страшно, слишком долго он идет за ним, тот может заметить, обернуться и вопросительно взглянуть на него; он снова рвется вперед, замирает, ставит крест на своем намерении и, опустив голову, проходит мимо.

«Слишком поздно! — подумал он. — Слишком поздно!» Но поздно ли? Ведь этот шаг, которого он не сделал, мог бы привести к доброму, радостному и легкому — к целительному отрезвлению. Но он, стареющий человек, верно и не стремился к нему, слишком дорожил хмельным своим состоянием. Кто разгадает суть и стать жизни в искусстве? Кто поймет, как прочно сплелись в ней самообуздание и необузданность? Ибо не желать целительного отрезвления — необузданность. Ашенбах более не был расположен к самокритике: вкус, духовный склад его времени, уважение к себе, зрелость и поздно пришедшая к нему простота сделали его несклонным расчленять побудительные причины и решать, совесть или нерадивость и слабость помешали ему выполнить свое намерение. Он был сбит с толку, боялся, что кто-нибудь, пусть даже сторож, заметит его бег, его поражение, боялся показаться смешным. В то же время он сам подсмеивался над своим священно-комическим страхом. «Оробел, — думал он, — оробел и как петух трусливо опустил крылья в разгаре боя. Нет, право же, это бог заставляет нас при виде любимого терять мужество, пригибает к земле наш гордый дух...» Он забавлялся, грезил, он был слишком высокомерен, чтобы страшиться чувства.

Он больше не заботился о сроке каникул, которые сам себе устроил, мысль о возвращении домой уже не приходила ему на ум. Он выписал себе большую сумму денег. Единственное, что

его тревожило, это возможный отъезд польского семейства. Впрочем, он исподтишка выпытал у парикмахера в отеле, что поляки прибыли совсем незадолго до него. Солнце покрыло загаром его лицо и руки, соленое дыхание ветра закалило его для любви, и если раньше всякий приток сил, дарованный ему сном, пищей или природой, он спешил отдать своей работе, то теперь все, чем подкрепляли его солнце, досуг и воздух, он великодушно и бесхозяйственно растрачивал на опьянение чувством.

Сон его был недолог; прекрасно однообразные дни разделялись короткими ночами, исполненными счастливых тревог. Правда, он рано поднимался к себе, так как уже в девять часов, едва только исчезал Тадзио, день казался ему прожитым. Но только начинало светать, как его уже будил пронизывающий сладкий испуг, воспоминание о сердечном приключении. Он не в силах был оставаться в постели, — вставал, спасаясь от утренней дрожи, накидывал на плечи халат и садился у открытого окна дожидаться восхода солнца. Душа его, освященная сном, благоговела перед этим дивным событием. Небо, земля и море еще покоились в белесоватой дымке раннего утра; еще плыла в беспредельности угасающая звезда. Но вот пронеслось легкое дуновение, крылатая весть из неприступных обителей о том, что Эос поднялась с брачного ложа, и уже первая, чуть приметная нежная злость в дальней дали окрашивает небо и море, знак того, что мир начинает пробуждаться. Приближается богиня, похитительница юношей, это она украла Клейта и Кефала, это она, на зависть всем олимпийцам, наслаждалась любовью прекрасного Ориона. Кто-то сыплет розами на краю света, несказанно нежное свечение и цветение, малютки облака, просветленные изнутри, прозрачные, точно амур-прислужники парят в розовом, в голубоватом благоухании; пурпур пал на море, и оно неспешно понесло его вперед, к берегу; золотые копья метнулись снизу в небесную высь, блеск стал пожаром, беззвучно, с божественной, нездешней мощью растекся зной, огонь; языки пламени лизнули небо, и священные кони брата, потрясая гривами, взнеслись над землею.

Недреманным оком смотрел одинокий человек на это божественное великолепие, потом он закрыл глаза, подставляя веки поцелуям извечного чуда. Прежние чувства, ранние, бесценные порывы сердца, угасшие в непрерывном суровом служении и теперь вернувшиеся в столь странном облики, — он узнавал их и приветствовал смущенной, растерянной улыбкой. Он думал, грезил, губы его неторопливо слагали чье-то имя; и, все еще улыбаясь, все еще поднимая к небу лицо и уронив руки на колени, он снова задремал в своем кресле.

Но день, начавшийся так пламенно и празднично, весь оставался приподнятым, мифически преображенным. Откуда бралось это веяние, мимолетное и полное значения, что как нездешний шепот касалось висков и уха? Белые перистые облачка толпились в высоте, словно стада Олимпа на пастбище. Ветер усилился, и кони Посейдона помчались, теснясь, вставая на дыбы, или то были быки синекудрого, что с ревом сшибались рогами? Меж валунов в отдаленной части берега волны прыгали и резвились, как козочки. Священно преображенный мир, полный трепета жизни, обнимал зачарованного, и сердцу его грезились прелестные сказки. Много раз, когда за Венецией заходило солнце, он сидел на скамье в парке, чтобы наблюдать за Тадзио в белом костюме с цветным кушаком, забавлявшимся игрою в мяч на утрамбованной площадке, и ему думалось, что он видит перед собой Гиацинта, который должен умереть, ибо его любят два бога. Он даже мучился острой завистью Зефира к сопернику, позабывшему оракула, лук и кифару для игры с прекрасным юношей; он видел диск, который беспощадная ревность метнула в прекрасную голову, и подхватывал, даже бледнел при этом, поникшее тело, и на цветке, возросшем из сладостной крови, была начертана его бесконечная жалоба...

Нет отношений страннее и щекотливее, чем отношения людей, знающих друг друга только зрительно, — они встречаются ежедневно и ежечасно, друг за другом наблюдают, вынужденные, в силу общепринятых правил или собственного каприза, сохранять внешнее безразличие — ни поклона, ни слова. Беспокойство, чрезмерное любопытство витают между ними, истерия неудовлетворенной, противоестественно подавленной потребности в общении,

во взаимопознании, но прежде всего нечто вроде взволнованного уважения. Ибо человек любит и уважает другого, покуда не может судить о нем, и любовная тоска — следствие недостаточного знания.

Какие-то отношения, какая-то связь неизбежно должны были установиться между Ашенбахом и юным Тадзио, и старший из них с острой радостью заметил, что его участие, его внимание остаются не вовсе без ответа. Что, например, побуждало Тадзио идти утром на пляж не по мосткам позади кабинок, а по песку, мимо кабинки Ашенбаха, иногда без всякой нужды, чуть ли не задевая его стол, его кресло? Или это притяжение, гипноз более сильного чувства так действовал на незрелый, бездумный объект? Ашенбах всякий день дожидался появления Тадзио и, случалось, притворялся, что занят и не видит его. Но иногда он поднимал глаза, и их взгляды встречались. Оба они в этот миг были глубоко серьезны. Умное достойное лицо старшего ничем не выдавало внутреннего волнения; но в глазах Тадзио была пытливость, задумчивый вопрос, его походка становилась нерешительной, он смотрел в землю, потом снова подымал глаза, и когда уже удалялся, казалось, что только воспитанность не позволяет ему оглянуться.

Но однажды вечером случилось по-другому. Польских детей и гувернантки за обедом в большом зале не оказалось, что с тревогой отметил Ашенбах. Встав из-за стола, он, как был, в вечернем костюме и соломенной шляпе, начал беспокойно прохаживаться вдоль террасы отеля, как вдруг похожие на монашек сестры с гувернанткой и Тадзио, на несколько шагов отставший от них, возникли в свете дуговых фонарей. Видимо, они пообедали в городе и теперь возвращались с паровой пристани. На воде вечерами бывало прохладно; Тадзио был одет в синий матросский бушлат с золотыми пуговицами и матросскую же шапочку. Солнце и морской воздух не тронули загаром его кожи, она оставалась такой же мраморной с чуть желтоватым налетом, как вначале. Но сегодня он казался бледнее обыкновенного, то ли от холода, то ли от лунного света фонарей. Его ровные брови прочерчивались резче, глаза темнели глубже. Он был несказанно красив, и Ашенбах снова с болью почувствовал, что слово способно лишь воспеть чувственную красоту, но не воссоздать ее.

Он не был подготовлен к милой его сердцу встрече, все произошло внезапно, у него не достало времени закрепить на своем лице выражение спокойного достоинства. Радость, счастливый испуг, восхищение — вот что оно выражало, когда встретились их взгляды, и в эту секунду Тадзио улыбнулся: губы его медленно раскрылись, и он улыбнулся доверчивой, говорящей, пленительной и откровенной улыбкой. Это была улыбка Нарцисса, склоненного над прозрачной гладью воды, та от глубины души идущая зачарованная, трепетная улыбка, с какой он протягивает руки к отображению собственной красоты, — чуть-чуть горькая из-за безнадежности желания поцеловать манящие губы своей тени, кокетливая, любопытная, немножко вымученная, замороженная и замораживающая.

Тот, кому она предназначалась, унес ее с собою как дар, судящий беду. Ашенбах был так потрясен, что бежал от света террасы и сада в темноту, в дальний угол парка. Станные слова, укоры, гневные и нежные, срывались с его губ: «Ты не должен так улыбаться! Пойми же, никому нельзя так улыбаться!» Он бросился на скамейку и, вне себя от возбуждения, вдыхал ночные запахи цветов. Откинувшись назад, безвольно свесив руки, подавленный — мороз то и дело пробегал у него по коже, — он шептал извечную формулу желания, презренную, немыслимую здесь, абсурдную, смешную и все же священную и вопреки всему достойную: «Я люблю тебя!»

На четвертой неделе своего пребывания здесь Густав фон Ашенбах почувствовал какие-то изменения во внешнем мире. Во-первых, число постояльцев отеля, несмотря на то что сезон был в разгаре, не возрастало, а явно уменьшалось, и странным образом вокруг Ашенбаха иссякала, замирала немецкая речь, так что за столом и на пляже его слуха касались уже только чуждые звуки. Далее, он уловил в разговоре с парикмахером, к которому теперь стал часто навещаться, одно слово, его поразившее. Тот упомянул о некоей немецкой

семье, уехавшей отсюда после очень краткого пребывания, и льстиво добавил: «Вы-то, сударь, остаетесь, вас эта беда не пугает». Ашенбах взглянул на него. «Беда?» — повторил он. Болтун прикусил язык, засуетился, сделал вид, что не слышит вопроса. А когда клиент стал настаивать, объявил, что решительно ничего не знает, и усиленной болтливостью попытался отвлечь его от разговора.

Это было в полдень. Несколько часов спустя Ашенбах при палящем зное и полном безветрии поехал в Венецию; его гнала маниакальная потребность всюду следовать за польскими детьми, которые, он это видел, под предводительством гувернантки пошли к пристани. На площади св. Марка его любимца не было. Но когда Ашенбах пил чай за круглым железным столиком на теневой стороне, в воздухе вдруг потянуло странно неприятным запахом, и Ашенбаху почудилось, что он уже много дней, только безотчетно и бессознательно, слышит его, этот сладковато-аптечный запах, напоминающий о несчастьи, о ранах и подозрительной чистоте. Втянув воздух ноздрями, он убедился, что это так, допил чай и ушел с соборной площади. В тесноте переулков запахи усилились. На всех углах плакаты от имени отцов города призывали венецианцев ввиду возможности распространения известных заболеваний гастрической системы, неизбежно вызываемых такой погодой, отказаться от употребления в пищу устриц и раковин, а также не пить воды из каналов. Было ясно, что это оповещение изрядно приукрашивает истину. Народ толпился на мостах и площадях; и меж них стоял он, чужой в этом городе, стоял, прислушиваясь и раздумывая.

Потом он спросил лавочника, стоявшего в дверях своего заведения среди связок кораллов и ожерелий из поддельных аметистов, что значит этот роковой запах. Тот бросил на него печальный взгляд, но поспешил приободриться. «Предупредительные меры, сударь, — отвечал он, жестикулируя. — Распоряжение полиции, которое нельзя не одобрить. Эта погода угнетает человека, ничего нет вреднее сирокко. Одним словом, осторожность, может быть и излишняя, но сами понимаете...» Ашенбах поблагодарил его и пошел дальше. На парходике, отвозившем его обратно на Лидо, тоже стоял этот запах дезинфекции.

Вернувшись в отель, он тотчас же прошел в читальню и стал просматривать газеты. Из иноязычных он никаких сведений не почерпнул. Немецкие приводили какие-то слухи, перепечатывали официальные опровержения и ставили под сомнение их правдивость. Так вот чем объяснялось исчезновение австрийцев и немцев! Представители других наций, видимо, просто ничего не знали, ни о чем не подозревали, а следовательно, и не тревожились. «Надо молчать, — взволнованно подумал Ашенбах, кладя газеты на стол. — Об этом надо молчать!» Но в то же время катастрофа, надвигавшаяся на внешний мир, преисполнила его сердце удовлетворением. Страсти, как и преступлению, нестерпима благополучная упорядоченность будней, она не может не радоваться всем признакам распада узаконенного порядка, любому отклонению от нормы, ибо смутно надеется извлечь выгоду из смятения окружающего мира. Так и Ашенбах испытывал безотчетное удовлетворение от событий на грязных улочках Венеции, которые так тщательно замалчивались, от этой недоброй тайны, сливавшейся с его собственной сокровенной тайной, — отчего ему и было так важно блюсти ее. Влюбленный, он беспокоился лишь об одном, как бы не уехал Тадзио, и, ужаснувшись, понял, что не знает, как будет жить дальше, если это случится.

Встречи с Тадзио благодаря общему для всех распорядку дня и счастливой случайности теперь уже не удовлетворяли Ашенбаха; он преследовал, выслеживал его. Так, например, по воскресеньям поляки никогда не бывали на пляже, — и он, догадавшись, что они посещают мессу в соборе св. Марка, тотчас же ринулся туда и, войдя с пышущей жаром площади в золотистый сумрак храма, сразу увидел того, кого так искал: Тадзио сидел за пюпитром, склонившись над молитвенником. И Ашенбах стоял вдали, на растрескавшемся мозаичном полу, среди коленопреклоненных людей, крестившихся и бормотавших молитвы, подавленный громоздкой пышностью восточного храма. Впереди в тяжко великолепном облачении расхаживал, кадил и пел священник, курился ладан, туманя бессильные огоньки

свечей у алтаря, и к тягучему сладковатому запаху бескровного жертвоприношения слегка примешивался другой: запах заболевшего города. Но сквозь чад и неровные огоньки свечей Ашенбах видел, как красивый мальчик там, впереди, повернул голову, стал искать его глазами и нашел.

Потом, когда толпа через открытые двери хлынула на залитую огнями площадь, где так и кишели голуби, опьяненный любовью Ашенбах скрылся в преддверии храма, притаился в засаде. Он видел, как поляки выходят из церкви, как дети чинно прощаются с матерью, возвращавшейся домой, пересекая площадь. Монашенки-сестры, Тадзио и гувернантка направились в правую сторону и через ворота «башни с часами» вошли в «Мерчерию». Он дал им уйти вперед и пошел за ними, незаметно сопровождая их в прогулке по Венеции. Ему приходилось останавливаться, когда они замедляли шаг, скрываться в таверны или прятаться в подворотнях, чтобы пропустить их, когда они неожиданно поворачивали; он терял их из виду, разгоряченный, запыхавшийся, гнался за ними по мостам, забирался в грязные тупики и бледнел от страха, когда они внезапно попадались ему навстречу в узком переходе, из которого нельзя было ускользнуть. И все же было бы неправдой сказать, что он очень страдал. Мозг и сердце его опьянели. Он шагал вперед, повинувшись указанию демона, который не знает лучшей забавы, чем топтать ногами разум и достоинство человека.

Потом гувернантка подозвала гондолу, и Ашенбах, в то время, как они садились, прятаясь за выступом здания или фонтаном, сделал то же самое, едва дождавшись, чтобы они отчалили. Торопливым, приглушенным голосом он посулил гондольеру щедрые чаевые, если он сумеет незаметно следовать за той вон гондолой, которая сейчас завернула за угол; и мороз пробежал у него по коже, когда гребец с хитрой услужливостью сводника тем же тоном заверил его, что все будет в порядке, он уж постарается на совесть.

Так, откинувшись на мягкие черные подушки, он скользил за другой черной остроносой ладьей, к следу которой его приковывала страсть. Временами она скрывалась из виду, и тогда тоска и тревога сжимали его сердце. Но многоопытному гондольеру всякий раз удавалось ловким маневром, стремительным броском вперед и умелым сокращением пути вернуть ушедшую лодку в поле зрения Ашенбаха. Неподвижный воздух был полон запахов, солнце томительно пекло сквозь дымку испарений, окрашивавших небо в бурый цвет. Вода булькала, ударяясь о дерево и камни. В ответ на крик гондольера, то ли приветственный, то ли предостерегающий, из далей водного лабиринта, словно по таинственному уговору, раздавался такой же крик. Из маленьких, высоко взгромоздившихся садов на замшелые стены свисали гроздь белых и пурпурных цветов, источавших аромат миндаля. Сквозь серую мглу там и сям обрисовывались окна в мавританском орнаменте. Мраморные ступени какой-то церкви сбегали в воду; старик нищий прикорнул на них и с жалобными причитаниями протягивал шляпу, показывая белки глаз — он-де слепой. Торговец стариной, стоя возле дыры, в которой гнездилась его лавчонка, подобострастными жестами зазывал проезжего, в надежде основательно его надуть. Это была Венеция, льстивая и подозрительная красавица, — не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в гнилостном воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила нежащими, коварно убаюкивающими звуками. Ашенбаху казалось, что глаза его впивают все это великолепиие, что его слух ловит эти лукавые мелодии; он думал о том, что Венеция больна и корыстно скрывает свою болезнь, и уже без стеснения следил за скользкой впереди гондолой.

Одурманенный и сбитый с толку, он знал только одно, только одного и хотел: неотступно преследовать того, кто зажег его кровь, мечтать о нем, и когда его не было вблизи, по обычаю всех любящих нашептывал нежные слова его тени. Одиночество, чужбина и счастье позднего и полного опьянения придавали ему храбрости, заставляли без стыда и страха пускаться в самые странные авантюры. Так, например, вернувшись поздно вечером из Венеции, он остановился в коридоре, у комнаты, где жил Тадзио, вконец истомленный страстью, прижался лбом к косяку и долго не в силах был сдвинуться с места, забыв, что его могут увидеть, застать в этом безумном положении.

И все же бывали мгновения, когда он, опомнившись, пытался держать себя в руках. Как всякий человек, которому прирожденные заслуги внушают аристократический интерес к своему происхождению, он привык при любых событиях и жизненных успехах вспоминать своих предков, мысленно искать их согласия и одобрения. Он и теперь думал о них, запутавшись в столь неподобающем приключении, отдавшись столь экзотическому избытку чувств, думал о суровой сдержанности, о пристойной мужественности их характеров и уныло усмехался. Что бы они сказали? Впрочем, что могли бы они сказать обо всей его жизни, так полярно отличающейся от той, которую вели они, об этой жизни, зачатой искусством, которую он сам некогда, под видом юношеских замет, высмеял совсем в буржуазном духе своих отцов, и которая, несмотря ни на что, была сколком с их жизни! Он тоже отбывал службу, тоже был солдатом и воином, подобно многим из них, — потому что искусство — война, изнурительный бой. Долго вести его в наши дни невозможно. Жизнь, полная самопреодоления, бесчисленных «вопреки», горькая, упорная, воздержанная жизнь, которую он сделал символом хрупкого героизма, только и возможного в наше время, — ее по праву можно было считать мужественной, храброй, и ему почему-то казалось, что Эрот, его поработивший, выбирает и отличает именно такую жизнь. Разве храбрейшие народы не чтили его превыше других богов и разве не процветал он в их городах, отмеченных храбростью? Немало древних героев-воинов добровольно несли его иго, и рок, насланный этим богом, не считался за унижение, поступки, которые клеймились бы как трусость, будь они совершены с другою целью: коленопреклонение, клятвы, нескончаемые мольбы и рабская покорность, — не только не позорили любящего, но, напротив, считались достойными похвалы.

Такие мысли проносились в его одурманенном мозгу, так пытался он обрести почву под ногами, сохранить свое достоинство. И в то же время он настороженно и неотступно вел наблюдение за нечистыми событиями на улицах Венеции, за бедой во внешнем мире, таинственно сливавшейся с бедою его сердца, и вскармливал свою страсть неопределенными беззаконными надеждами. Одержимый желанием узнать новое и достоверное о состоянии и развитии мора, он торопливо пробежал глазами немецкие газеты в кофейнях, так как они уже несколько дней назад исчезли из читальни отеля. Число заболеваний и смертных случаев равнялось будто бы двадцати, сорока, наконец дошло уже до сотни и более, но тут же вслед за цифрами об эпидемии говорилось лишь как об отдельных случаях заражения, инфекция объявлялась завезенной извне. И все это перемежалось протестами и предостережениями против опасной игры итальянских властей. Словом, доискаться истины было невозможно.

Ашенбах в своем одиночестве считал знание этой тайны за подобающую ему привилегию и, хоть и был здесь совсем сторонним человеком, находил непонятное удовлетворение в том, чтобы с помощью коварных вопросов вынуждать людей осведомленных, но обязанных молчать, к прямой лжи. Так однажды за завтраком в большом зале он заговорил с администратором, маленьким тихим человечком во французской визитке, который, раскланиваясь на все стороны и неусыпно следя за происходящим, остановился возле столика Ашенбаха, намереваясь перекинуться с ним двумя-тремя словами. «Почему, собственно, — как бы мимоходом полюбопытствовал Ашенбах, — в последнее время Венецию стали дезинфицировать? Что за странная идея?» — «Полицейское мероприятие, — отвечал тихий человечек, — имеющее целью охрану общественного здоровья, которое всегда подвергается некоторой опасности в такую знойную и ветреную погоду».

— Похвальная предусмотрительность, — заметил Ашенбах.

Они обменялись еще несколькими соображениями метеорологического характера, и администратор откланялся.

Вечером того же дня, уже после обеда, маленькая труппа бродячих певцов из города давала представление в саду перед отелем. Двое мужчин и две женщины стояли, прислонясь к железному столбу фонаря и обратив белые от яркого света лица к террасе; курортные гости, сидевшие там за кофе и прохладительными напитками, снисходительно принимали

это народное зрелище. Персонал отеля, лифтеры, официанты и конторские служащие выглядывали из дверей. Русское семейство, охочее до зрелищ и умеющее наслаждаться, полукругом расположилось в саду, поближе к актерам, на принесенных с террасы соломенных стульях. За господами, в закрученном как тюрбан платке, стояла их старая рабыня.

Мандолина, гитара, гармонь и пискливая скрипка не умолкали в руках нищих виртуозов. Игра сменялась вокальными номерами. Та из женщин, что была помоложе, пронзительным, скрипучим голосом исполнила любовный дуэт со слащаво фальцетирующим тенором. Но подлинно талантливым актером и премьером труппы выказал себя гитарист, обладатель так называемого комического баритона; почти безголосый, он отличался удивительным мимическим даром и большой экспрессией. Не выпуская из рук инструмента, он то и дело отрывался от остальных и подбегал к рампе, чтобы в награду за свои веселые дурачества услышать снисходительный смех. Больше всех этой южной живостью восторгались русские в своем партере, хлопками и возгласами они поощряли его к еще более задорным и смелым выходкам.

Ашенбах сидел у балюстрады и время от времени потягивал смесь из гранатового сока и содовой воды, рубинами сверкавшую в его бокале. Его нервы упивались пошлыми звуками и вульгарно-томной мелодией, ибо страсть подавляет чувство изящного и всерьез воспринимает те дразнящие, возбуждающие впечатления, к которым в трезвом состоянии мы отнеслись бы юмористически или попросту брезгливо их отвергли. От прыжков скомороха черты его застыли, страдальческая улыбка уже искривила его рот. Он сидел непринужденно и вольно, хотя внутренне был напряжен до крайности, ибо шагах в пяти от него возле каменной балюстрады стоял Тадзио.

На нем был тот белый костюм с кушаком, который он иногда надевал к обеду. С неотъемлемой от него врожденной грацией он опирался левой ладонью о перила, правой рукой — в бедро и, скрестив ноги, не то чтобы с улыбкой, а с какой-то тенью любопытства и с учтивой внимательностью смотрел вниз на бродячих певцов. Время от времени он выпрямлялся и, расправив грудь красивым жестом обеих рук, заправлял под кушак свою белую куртку. Но иногда, стареющий Ашенбах с торжеством отмечал это, он оборачивался через левое плечо нерешительно, с опаской, или же вдруг внезапно и быстро, словно хотел застать врасплох того, кто его любил. Он не встречался с ним глазами, потому что позорное опасение заставляло Ашенбаха потуплять свой взор. В глубине террасы сидели женщины, опекавшие Тадзио, и дело зашло так далеко, что влюбленный Ашенбах боялся, как бы они его не разоблачили, не заподозрили. Цепенея от ужаса, он уже не раз замечал на пляже, в зале ресторана и на площади св. Марка, что они всякий раз отзывали Тадзио, если тот оказывался вблизи от него, всячески старались держать его поодаль — страшное оскорбление, заставлявшее его гордость изнывать в неведомых доселе муках, оскорбление, пренебречь которым ему не позволяла совесть.

Между тем гитарист под собственный аккомпанемент начал исполнять сольный номер, длинную площадную песню, распространенную в то время во всей Италии; ее рефрен всякий раз подхватывался его партнерами, и надо отдать справедливость певцу, он умел внести в свое исполнение немалую долю пластичности и трагизма. Тощий, с испытанным, изможденным лицом, он стоял на посыпанной гравием площадке в стороне от партнеров, сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, так что из-под нее выбился целый сноп рыжих волос, в позе задорной и дерзкой, и под струнный перебор выразительным речитативом бросал свои шутки вверх, на террасу, так что от творческого напряжения жилы вздувались у него на лбу. Совсем непохожий на венецианца, он скорее смахивал на неаполитанского уличного актера — полуграбитель, полукомедиант, задорный, дерзкий, опасный и занимательный. Песня, которой по содержанию была грош цена, в его устах благодаря выразительной мимике и телодвижениям, манере лукаво подмигивать и кончиком языка быстро касаться уголков рта становилась какой-то двусмысленной и предосудительной. Из отложного воротничка

спортивной рубашки, надетой под обычное городское платье, торчала его тощая шея с большим, отталкивающе обнаженным кадыком. Бледная, курносая и безбородая физиономия, не позволявшая определить его возраст, вся была точно перепахана гримасами и пороком, а к ухмылке его подвижного рта как нельзя лучше подходили две складки, упрямо, властно, почти свирепо залегшие меж рыжих бровей. Но больше всего привлекло к скомороху внимание тосковавшего Ашенбаха то, что его подозрительную фигуру окружала, казалось, свойственная ему одному, столь же подозрительная атмосфера. Дело в том, что всякий раз во время рефрена, когда певец, кривляясь и приветствуя публику, начинал круговой обход, он оказывался в непосредственной близости от Ашенбаха, и всякий раз от него так и несло карболовым раствором.

Закончив куплет, он стал собирать деньги. Начал он с русских, которые щедро его вознаградили, и затем поднялся по ступенькам. Насколько дерзко он держался во время пения, настолько же смиренно вел себя здесь, наверху. Угодливо извиваясь, он ходил от столика к столику, обнажая в раболепно-коварной усмешке свои крупные зубы, хотя две складки меж рыжих бровей по-прежнему грозно прорезали его лоб. Это существо, собиравшее себе на пропитание, все разглядывали с любопытством, не чуждым отвращения, и кончиками пальцев бросали монеты в его протянутую шляпу, страшась к ней прикоснуться. Снятие физической дистанции между комедиантом и «чистой публикой», какое бы удовольствие он ей ни доставил, всегда порождает известную неловкость. Он это чувствовал и старался искупить свою вину сугубой приниженностью. Наконец он приблизился к Ашенбаху, и вместе с ним и запах, которого другие, видимо, просто не замечали.

— Слушай-ка, — приглушенным голосом, почти механически, сказал Ашенбах. — Венецию дезинфицируют? Почему, скажи на милость?

Фигляр хрипло ответил:

— Из-за полиции! Полицейское предписание, ввиду жары и сирокко. Сирокко — давит. Нет вреднее для здоровья... — Он говорил словно удивляясь: есть о чем спрашивать, и ладонью показал, как давит сирокко.

— Значит, никакого бедствия в Венеции нет? — тихо, сквозь зубы спросил Ашенбах.

Послушные черты скомороха исказились гримасой комического недоумения:

— Бедствия? Какого бедствия? Вы хотите сказать, что наша полиция бедствие? Вы шутник, синьор! Еще чего! Предохранительное мероприятие, поймите же наконец! Полицейский указ, необходимый при такой погоде... — Он стал энергично жестикулировать.

— Ладно, — проговорил Ашенбах так же тихо, как раньше, и быстро бросил в шляпу неподобающе крупную монету. Затем он глазами сделал ему знак: «Уходи». Он повиновался, ослабившись и почтительно раскланиваясь. Тот не успел дойти до лестницы, как на него набросились двое официантов и шепотом повели перекрестный допрос. Он пожимал плечами, клялся, уверял, что ни единым словом не обмолвился, и явно говорил правду. Его отпустили, он вернулся в сад и, поговорив о чем-то со своими партнерами под фонарем, выступил еще раз с прощальной песней.

Ашенбах не припоминал, чтобы когда-нибудь слышал эту песенку, задорную, на непонятном диалекте, с рефреном-гоготом, который добросовестно, во весь голос, подхватывали все остальные. Слова и инструментальный аккомпанемент здесь замолкали, весь рефрен сводился к ритмически кое-как организованному, но весьма натурально воспроизводимому смеху, что лучше всего до полной неотличимости получалось у одаренного солиста. Теперь, когда вновь установилась дистанция между ним и «чистой публикой», к нему вернулись его веселье и дерзость, и его искусственный смех, бесстыдно обращенный к террасе, звучал поистине издевательским хохотом. Казалось, что в конце каждой отчетливо артикулированной строфы его одолевает отчаянный приступ смеха. Он всхлипывал, голос его срывался, плечи дергались, и в нужную секунду из его глотки, как внезапный взрыв, с воем вырывался неудержимый гогот, до того правдоподобный, что им заражались все кругом,

и на террасе вдруг воцарялась беспредметная, бессмысленная веселость. И это, казалось, удваивало буйство певца. Колени у него подгибались, он хлопал себя по ляжкам, хватался за бока. Он весь трясся, он уже не смеялся, он орал, тыкал пальцем вверх, словно не было на свете ничего комичнее смеющихся господ, там, наверху, и вскоре со смеху покатывались уже все в саду и на террасе, вплоть до официантов и лифтеров.

Ашенбах больше не сидел, покойно откинувшись на спинку стула, он напрягся, словно готовясь к самообороне или бегству. Но хохот, доносившийся снизу, больничный запах и близость любимого сплелись для него в туманившее мозг неразрывное, неотвратимое очарование. Среди всеобщего оживления и рассеяния он отважился взглянуть на Тадзио и, сделав это, заметил, что любимый, ответив на его взгляд, остался серьезным, словно сообразуясь с его поведением, его выражением лица; общее настроение не захватило его, потому что и Ашенбах не был им захвачен. В этой детской настороженной доверчивости было нечто до того обезоруживающее, покоряющее, что седовласый человек был готов закрыть лицо руками. К тому же, когда Тадзио машинально выпрямился и вдохнул воздух, Ашенбаху почудилось, что мальчик испытывает стеснение в груди. «Он слаб здоровьем и, верно, не доживет до старости», — вновь подумал Ашенбах с той четкостью представлений, которую странным образом вызывает опьянение страстью; и заботливая тревога одновременно с неистовым удовлетворением наполнила его сердце.

Между тем венецианцы окончили представление и собрались уходить. Их провожали аплодисментами, и гитарист не преминул еще потешить публику на прощанье. А так как над его расшаркиваниями и воздушными поцелуями все опять смеялись, то он старался вдвойне. Когда его партнеры уже вышли из сада, он попятился, сделал вид, что налетел на фонарный столб, и, скорчившись, точно от боли, проскользнул в ворота. Там он мигом сбросил с себя маску комического неудачника, выпрямился, упруго скакнул вперед, показал язык гостям на террасе и исчез в темноте. Зрители разошлись; Тадзио уже давно не было у балюстрады. Но Ашенбах, на удивление официантам, еще долго и одиноко сидел за столиком, потягивая свой гранатовый напиток. Ночь продвигалась вперед, распадалось время. В его родительском доме, много лет назад, были песочные часы, — сейчас он снова видел перед собою этот маленький хрупкий и столь много значащий сосудец. Беззвучной, тоненькой струйкой бежал песок, подкрашенный в красновато-ржавый цвет, через узкую горловину, и когда в верхней баночке он был уже на исходе, там образовывалась маленькая крутящаяся воронка.

Уже на следующий день, упорный человек, он сделал новое усилие узнать правду о внешнем мире, и на этот раз с полным успехом. Он зашел в английское бюро путешествий возле площади св. Марка и, разменяв в кассе несколько кредитных билетов, обратился к клерку со своим роковым вопросом. Это был молодой англичанин в ворсистом костюме, с прямым пробором, близко посаженными глазами, с той равнодушной степенностью в повадках, которая на озорном юге производит такое странное, отчуждающее впечатление. «Никаких оснований для беспокойства, сэр, — начал он. — Мероприятие, ничего особенно не означающее. Полиция здесь нередко отдает подобные приказы, чтобы предупредить вредные воздействия жары и сирокко...» Но, подняв голубые глаза, он встретил взгляд клиента, усталый, немного грустный взгляд, с презрением устремленный на его губы. И англичанин покраснел. «Таково официальное объяснение, — продолжал он приглушенно и даже взволнованно, — и здесь очень настаивают на том, чтобы его придерживаться. Но я вам скажу, что за ним кроется еще нечто другое». И на своем честном выразительном языке он сказал правду.

Уже целый ряд лет азиатская холера выказывала упорное стремление распространиться, перекинуться в далекие страны. Зародившись в теплых болотах дельты Ганга, возросши под затхлым дыханием избыточно-никчемного мира первозданных дебрей, которых бежит человек и где в зарослях бамбука таится тигр, этот мор необычно долго свирепствовал в Индостане, перекинулся на восток — в Китай, на запад — в Афганистан и Персию, и по главным караванным путям во всем своем ужасе распространился до Астрахани, более того — до Москвы.

Европадрожала, что оттуда призрак будет держать свой въезд по суше, но сирийские купцы привезли его водным путем. Он поднял голову одновременно во многих средиземноморских гаванях, в Тулоне и в Малаге, явил свой страшный лик в Палермо и Неаполе и, казалось, не желал больше покинуть Калабрию и Апулию. Север полуострова не был затронут бедствием. Но в мае этого года в Венеции в один и тот же день грозные вибрионы были обнаружены в иссохших почернелых трупах портового рабочего и торговли зеленью. Об этих случаях умолчали. Но через неделю их было уже десять, двадцать, тридцать, и к тому же в различных кварталах. Некий уроженец австрийских провинций, для собственного удовольствия проживший несколько дней в Венеции, вернувшись в родной городишко, умер при весьма недвусмысленных симптомах, и таким образом первые слухи о неблагополучии в городе на лагуне просочились в немецкие газеты. Венецианские власти ответили, что санитарные условия города в лучшем состоянии, чем когда-либо, и приняли необходимые меры для борьбы с заразой. Но инфекция, видимо, проникла в пищевые продукты, в овощи, мясо, молоко, и скрываемая, замалчиваемая эпидемия стала косить людей на тесных венецианских улочках, а преждевременная жара, нагревшая воду в каналах, как нельзя больше ей благоприятствовала. Казалось даже, что она набралась новых сил, что стойкость и плодовитость ее возбудителей удвоились. Случаи выздоровления были редки, восемьдесят из ста заболевших умирали, и умирали лютой смертью, так как болезнь развивалась яростно и нередко принимала ту опаснейшую форму, которая называлась «сухой». Тело в этих случаях не в силах было извергнуть воду, в избытке выделяющуюся из кровеносных сосудов. В течение нескольких часов больной, весь иссохнув, задышался от вязкой, как смола, крови и погибал в страшных судорогах, испуская хриплые стоны. И хорошо еще (иногда это бывало), если приступ случался после легкого недомогания и принимал характер глубокого обморока, от которого больному не суждено было очнуться. В начале июня втихомолку наполнились бараки Ospedale civico*, в обоих сиротских домах уже не хватало мест, и жуткое, почти непрерывное движение установилось между набережной новых домов и Сан-Микеле, кладбищенским островом. Но страх перед убытками, интересы недавно открытой выставки картин в общественных садах, боязнь полного разорения, грозившая в случае паники отелям, торговым предприятиям, всей разнообразной туристской промышленности, оказались сильнее правдолюбия и честного соблюдения международных договоров; этот страх заставил городские власти упорствовать в политике замалчивания и отрицания. Начальник санитарной службы Венеции, человек весьма заслуженный, в негодовании оставил свой пост, под шумок переданный более покладистому чиновнику. Народ это знал. Коррупция верхов, заодно с общей неуверенностью и тем исключительным состоянием, в которое город был повергнут смертью, бродящей по его улицам, привели к известной нравственной распущенности низшие слои, поощрили темные, антисоциальные тенденции, сказавшиеся в невоздержанности, бесстыдстве, растущей преступности. Против обыкновения, вечерами на улицах было много пьяных. Поговаривали, что из-за злоумышленников в городе ночью стало небезопасно. Ко всему этому добавились разбойные нападения и даже убийства. Так, уже два раза выяснялось, что лиц, мнимо ставших жертвой заразы, на самом деле родственники спровадили на тот свет с помощью яда, и профессиональный разврат принял небывало наглые и разнузданные формы, прежде здесь незнакомые и процветавшие разве что на юге страны и на Востоке.

Вот что вкратце рассказал ему англичанин. «Лучше вам уехать сегодня, чем завтра. Еще два-три дня, и карантин будет, конечно, объявлен». — «Благодарю вас», — сказал Ашенбах и вышел из бюро.

Площадь была объята бессолнечным зноем. Ничего не подозревавшие иностранцы сидели за столиками кафе или стояли с голубями на плечах и на руках перед собором и смотрели, как эти птицы, теснясь, хлопая крыльями и прогоняя друг друга, клюют с ладоней зерна маиса. Лихорадочно возбужденный, торжествующий, что дознался наконец правды, и все же с привкусом отвращения во рту и с ужасом в сердце, шагал Ашенбах взад и вперед по великолепным плитам паперти.

* гражданский госпиталь (итал.)

Он обдумывал поступок, очистительный и пристойный. Можно сегодня же вечером подойти к даме в жемчугах и сказать ей, слова он уже заботливо подобрал: «Хоть я и незнаком вам, сударыня, но позвольте мне вас предостеречь, подать вам совет, от которого корысти угодно было воздержаться. Уезжайте немедленно с Тадзио и дочерьми! Венеция заражена!» Тогда ему будет дозволено в знак прощанья коснуться рукою головы того, кто стал орудием насмешливого божка; затем он повернется и сбежит из этого болота. И в то же время Ашенбах чувствовал, что он бесконечно далек от того, чтобы всерьез желать такого исхода. Этот шаг повел бы его назад, вновь сделал бы самим собою, а для того, кто вне себя, ничего нет страшнее, чем вернуться к себе. Ему вспомнилось белое здание, украшенное рдевшими в лучах заката надписями, в прозрачной мистике которых терялся его духовный взор, и удивительная фигура странника, пробудившая в нем, стареющем человеке, юношескую страсть к перемене мест; и мысль о возвращении домой, о рассудочности, трезвости, о высоких усилиях и мастерстве стала ему до того омерзительна, что его лицо исказила гримаса физического отвращения. «Надо молчать!» — настойчиво прошептал он. И еще: «Я буду молчать!» Сознание своей сопричастности, своей совиновности опьянило его, как малая толика вина опьяняет усталый мозг. Картина пораженного заразой опустевшего города, возникшая перед его внутренним взором, зажгла в нем надежды непостижимые, несообразные с человеческим разумом и сладостные до дрожи. Что значило хилое счастье, на миг пригрезившееся ему, в сравнении с этими ожиданиями? Чего стоило искусство и праведная жизнь в сравнении с благами хаоса? Он промолчал и остался.

В эту ночь было у него страшное сновидение — если можно назвать сновидением телесно-духовное событие, явившееся ему, правда, в глубоком сне, но так, что вне его он уже не видел себя существующим в мире. Местом действия была как будто самая его душа, а события ворвались извне, разом сломив его сопротивление — упорное сопротивление интеллекта, пронеслись над ним и обратили его бытие, культуру его жизни в прах и пепел.

Страх был началом, страх и вождение и полное ужаса любопытство к тому, что должно совершиться. Стояла ночь, и чувства его были насторожены, ибо издали топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой — протяжное «у», — все это пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: «Чуждый бог». Зной затлел, за клубился, и он увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и замшелых камней, дробясь, покатылся обвал: люди, звери, стая, неистовая орда — и наводнил поляну телами, пламенем, суетой и бешеными плясками. Женщины, путаясь в длинных одеждах из звериных шкур, которые свисали у них с пояса, со стоном вскидывая головы, потрясали бубнами, размахивали факелами, с которых сыпались искры, и обнаженными кинжалами, держали в руках извивающихся змей, перехватив их за середину туловища, или с криками несли в обеих руках свои груди. Мужчины с рогами на голове, со звериными шкурами на чреслах и мохнатой кожей, склонив лбы, задирали ноги и руки, яростно били в медные тимпаны и литавры, в то время как упитанные мальчишки, цепляясь за рога козлов, подгоняли их увитыми зеленью жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках. А вокруг стоял вой и громкие клики — сплошь из мягких согласных с протяжным «у» на конце, сладостные, дикие, нигде и никогда не слыханные. Но здесь оно наполнило собою воздух, это протяжное «у» — точно трубил олень, там и сям многоголосо подхваченное, разгульно ликующее, подстрекающее к пляске, к дерганью руками и ногами. Оно никогда не смолкало. Но все пронизывали, надо всем властвовали низкие, влекущие звуки флейты. Не влекут ли они — бесстыдно, настойчиво — и его, сопротивляющегося и сопричастного празднеству, к безмерности высшей жертвы? Велико было его омерзение, велик страх, честное стремление до последнего вздоха защищать свое от этого чужого, враждебного достоинству

и твердости духа. Но гам, вой, повторенный горным эхо, нарастал, набухал до необоримого безумия. Запахи мутили разум, едкий смрад козлов, пот трясущихся тел, похожий на дыхание гнилой воды, и еще тянуло другим знакомым запахом: ран и поварьной болезни. В унисон с ударами литавр содрогалось его сердце, голова шла кругом, ярость охватила его, ослепление, пьяное сладострастие, и его душа возжелала примкнуть к хороводу бога. Непристойный символ, гигантский, деревянный, был открыт и поднят кверху: еще разнузданнее заорали вокруг, выкликая все тот же призыв. С пеной у рта они бесновались, возбуждали друг друга любострастными жестами, елозили похотливыми руками, со смехом, с кряхтеньем вонзали острые жезлы в тела близстоящих и слизывали выступавшую кровь. Но, покорный власти чуждого бога, с ними и в них был теперь тот, кому виделся сон. И больше того: они были он, когда, рассвирепев, бросались на животных, убивали их, зубами рвали клочья дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось поварьное совокупление — жертва богу. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели.

От этого сна Ашенбах очнулся разбитый, обессиленный, безвольно подпавший демону. Он уже не страшился пристальных взглядов людей; их подозрения больше его не заботили. Они ведь удирали, разъезжались. На пляже пустовало множество кабинок, в ресторане становилось все больше и больше незанятых столиков, в городе редко можно было встретить иностранца. Правда, видимо, выплыла на свет, панику, несмотря на сговор заинтересованных лиц, уже нельзя было предотвратить. Но дама в жемчугах со своим семейством оставалась здесь, потому ли, что слухи не дошли до нее, потому ли, что она была слишком горда и бесстрашна перед лицом опасности. И Тадзио оставался.

Ашенбаху, объятому страстью, временами чудилось, что бегство и смерть сметут вокруг него все живое, бывшее для него помехой, и он один с прекрасным Тадзио останется на этом острове, — и когда по утрам у моря его взор, пристальный, мрачный, безответственный, устремлялся на вождя, когда в сумерках он позорно преследовал его на улочках, где крадучись бродила мерзостная гибель, немыслимое и чудовищное казалось ему мыслимым и нравственный закон необязательным.

Как всякий любящий, он хотел нравиться и терзался горестной боязнью, что это невозможно. Он подбирал яркие, молодящие детали для своего костюма, стал носить драгоценные камни и опрыскиваться духами, тратил, по нескольку раз на дню, уйму времени на свой туалет и выходил к столу нарядный, взволнованный и возбужденный. Перед лицом сладостной юности ему в этом состоянии сделалось противно собственное стареющее тело; глядя на свои седины, на свои заострившиеся черты, он чувствовал стыд и безнадежность. Его тянуло к физическому освежению и обновлению, и он часто заходил в парикмахерскую при отеле.

В пудермантеле, откинувшись на спинку кресла под умелыми руками говорливого цирюльника, он измученным взглядом смотрел на свое отражение в зеркале.

— Седой, — с перекошенным ртом проговорил он.

— Немножко, — согласился тот, — и, надо сказать, из-за некоторого небрежения, безразличия к своей внешности, вполне понятного у значительного человека, но тем менее похвального: кому-кому, а значительному человеку не подобают предрассудки касательно естественного и искусственного. Если бы, логически рассуждая, такая строгость нравов распространилась и на зубы, право же, это многим показалось бы смешным. В конце концов мы не старше того, что чувствует наш дух, наше сердце, и седые волосы иногда больше лгут, чем небольшая поправка, которой почему-то принято пренебрегать. Вы, сударь, безусловно имеете право на свой обычный цвет волос. Разрешите мне его вам вернуть?

— Как это? — спросил Ашенбах.

Тогда этот красноречивый тип вымыл клиенту волосы в двух водах, в светлой и в темной, и они стали черными, как в молодые годы. Затем, придав им с помощью щипцов мягкую волнистость, он отошел в сторону и окинул взглядом результаты своих трудов.

— Теперь, — заявил он, — остается только немножко освежить кожу.

И, точно художник, который никак не может окончить портрет, удовлетвориться своей работой, он с неутолимимым усердием принялся проделывать над клиентом одну манипуляцию за другой. Ашенбах, удобно расположившийся в кресле, не только неспособный к сопротивлению, но скорее обнадеженный и возбужденный всем происходившим, видел в зеркале, что изгиб бровей у него стал энергичнее и ровнее, разрез глаз удлинился благодаря слегка подведенным векам, к ним вернулся блеск, а ниже, где кожа была жесткой и коричневатой, благодаря легкому прикосновению кармина вдруг расцвела нежная розовость, его губы, еще только что малокровные, налились малиновым цветом, морщины на щеках, вокруг рта, под глазами исчезли под влиянием крема и туалетной воды. С бьющимся сердцем он увидел, что из зеркала на него смотрит юноша в цвете лет. Цирюльник наконец уgomонился и, по обычаю всех своих собратьев, подобострастно поблагодарил того, кто сидел в его кресле.

— Пустячная помощь, — сказал он, накладывая последний штрих на лицо Ашенбаха. — Теперь, сударь, вам можно влюбляться.

И тот ушел, мечтательно счастливый, сбитый с толку, испуганный. Галстук на нем был красный, тулью широкополой соломенной шляпы обвивала разноцветная лента.

С моря дул теплый штормовой ветер; изредка накрапывал дождь, но воздух был пропитан влагой, тяжел, полон гнилостных миазмов. В ушах стоял гомон, плеск и свист; лихорадящему под своим гримом Ашенбаху чудилось, что это духи ветров ведут в пустоте свою недобрую игру, что мерзостные птицы моря пожирают пищу осужденного, рвут ее на части, оскверняют своим пометом. Ибо зной отбивал аппетит и откуда-то всплывало представление, что пища заражена и отравлена.

Однажды днем, по пятам преследуя красавца Тадзио, он углубился в путаницу улочек и переулков большого города. Потеряв ориентацию, так как все в этом лабиринте — улицы, каналы, мосты, маленькие площади — было схоже до неузнаваемости, толком не понимая даже, где восток и где запад, озабоченный лишь одним — не потерять из виду преследуемого и любимого — и вдобавок принужденный к позорной осторожности, то прижимаясь к стене, то хоронясь за спинами прохожих, он давно уже не замечал предельной усталости, в которую ввергло его плоть и дух непрестанное напряжение чувства.

Тадзио шел позади, в узких проходах он пропускал вперед гувернантку и монашек-сестер и, поотстав от них, оборачивался, смотрел через плечо своими странными, сумеречно-серыми глазами, идет ли за ним его верный поклонник. Он его видел, и он его не выдавал. Хмельной от этого открытия, влекомый все вперед и вперед этими глазами, попавшийся на удочку страсти, он гнался за своей предосудительной надеждой, чтобы наконец все-таки потерять ее из виду. Поляки перешли через круто изогнутый мостик, высокий изгиб которого скрыл их из глаз преследователя, и когда он в свою очередь взобрался на него, их уже не было видно. Он бежал за ними по трем направлениям — вперед и в обе стороны узкой и грязной набережной. Но все было тщетно! Слабость, полное нервное истощение заставило его наконец поставить крест на этих поисках.

Голова его пылала, кожа покрылась липким потом, все тело содрогалось, нестерпимая жажда терзала его, он смотрел вокруг, ища, чем бы освежиться. В какой-то зеленой лавчонке он купил земляники, переспелой, измятой, и стал есть ее на ходу. Перед ним открылась маленькая площадь, пустынная, точно заколдованная; это здесь две или три недели назад принял он неудавшийся план бегства. Он присел посередине площади на ступеньки водоема и головой прислонился к его каменной ограде. Вокруг стояла тишина, трава пробивалась сквозь камни мостовой, повсюду валялся мусор. Меж обступивших площадь посерелых от ветра домов разной высоты выделялся один, похожий на дворец. За его стрельчатыми окнами обитала пустота, маленькие балконы были украшены львами. В нижнем этаже другого дома помещалась аптека. Порывы теплого ветра время от времени доносили запах карболки.

Там он сидел, прославленный мастер, художник, обретший достоинство, автор «Ничтожного», отливший в столь образцово чистые формы свое неприятие богемы, мутных

глубин бытия, тот, кто устоял перед соблазном бездны и презрел презренное, кто возвысился до преодоления своего знания и перерос иронию, кто привык к почтительному доверию масс, чья слава стала официозной, чье имя украсилось дворянской приставкой, а стиль ставился в пример гимназистам, — он сидел там. Его веки были опущены, и лишь изредка из-под них мелькал, чтобы тотчас же исчезнуть, насмешливый, смущенный взор, а его вялые, чуть тронутые косметикой губы лепетали отдельные слова из тех, что со своеобразной бредовой логикой проносились в его объятom дремотой мозгу:

«Ибо красота, Федр, запомни это, только красота божественна и вместе с тем зрима, а значит она путь чувственного, маленький Федр, путь художника к духу. Но ведь ты не согласишься, мой милый, что тот, чей путь к духовному идет через чувства, может когда-нибудь достигнуть мудрости и истинного мужского достоинства. Или ты полагаешь (решение я предоставляю тебе), что этот опасно-сладостный путь есть путь гибельный, грешный, который неизбежно ведет в беспутье. Ибо ты должен знать, что мы, поэты, не можем идти путем красоты, если Эрот не сопутствует нам, не становится дерзостно нашим водителем. Пусть мы герои и храбрые воины, мы все равно подобны женщинам, ибо страсть возвышает нас, а тоска наша должна оставаться любовью, — в этом наша утеха и наш позор. Понял ты теперь, что мы, поэты, не можем быть ни мудрыми, ни достойными? Что мы неизбежно идем к беспутью, неизбежным и жалким образом предаемся авантюре чувств. Наш мастерский стиль — ложь и шутовство, наша слава и почет, нам оказываемый, — вздор, доверие, которым нас дарит толпа, — смешная нелепость, воспитание народа и юношества через искусство — не в меру дерзкая, зловредная затея. Где уж быть воспитателем, тому, кого с младых ногтей влечет к себе бездна. Мы можем отрицать это влечение, можем добиться достоинства, но как ни вертись, а бездна нас притягивает. Так мы отрекаемся от расчленяющего познания, ибо познание, Федр, чуждо достоинства и чуждо суровости, оно знает, ему все понятно, оно все прощает, не ведая о прочности и форме: оно тянется к бездне, оно и есть бездна. Итак, мы решительно отменяем его и отныне ищем только красоты, иными словами — простого, величественного, новой суровости, вторичной непринужденности и формы. Но форма и непринужденность, Федр, ведут к пьяному угару и вожделению и могут толкнуть благородного на такое мерзостное осквернение чувства, которое клянет его собственная суровость, они могут и должны привести его к бездне. Нас, поэтов, говорю я тебе, ведут они к ней — потому что мы не можем взлететь, а можем лишь сбиться с пути. Теперь я уйду, ты же, Федр, останься здесь; и лишь когда я скроюсь из глаз, иди и ты».

Несколько дней спустя Густав фон Ашенбах, чувствуя себя нездоровым, вышел из отеля в более поздний утренний час, чем обычно. Он пытался побороть приступы дурноты, лишь отчасти носившие физический характер, которые сопровождались непрерывно нараставшим страхом, ощущением безнадежности и безысходности, распространявшимся и на внешний мир или ограничивавшимся им самим, — в этом он был не в состоянии разобраться. В холле он заметил целую грудку багажа, приготовленного к отправке, спросил у швейцара, кто это уезжает, и в ответ услышал аристократическую польскую фамилию, втайне ему уже давно знакомую. При этом известии черты его осунувшегося лица не изменили своего выражения, он только на секунду поднял голову, словно мимоходом узнав что-то, что не следует знать, да еще спросил: «Когда?» Ему отвечали: «После второго завтрака». Он кивнул и отправился к морю.

Неприветливо было там. По широкой плоской полосе воды, отделявшей пляж от первой довольно протяженной отмели, отступая к морю, катились буруны. Отпечаток чего-то осеннего, отжившего лежал на некогда столь пестро расцвеченном пляже, где даже песок более не содержался в чистоте. Фотографический аппарат, видимо покинутый своим хозяином, стоял на треножном штативе у самой воды, и черное сукно, на него накинутое, хлопало и трепыхалось на холодном ветру.

Тадзио с несколькими оставшимися у него товарищами шел справа от своей кабинки, и Ашенбах, укрыв колени одеялом и лежа в шезлонге, почти на равном расстоянии от моря

и кабинки, опять смотрел на него. На этот раз игра шла без присмотра, так как женщины, вероятно, были заняты сборами, и закончилась ссорой. Коренастый мальчик, в костюме с кушаком и с напوماженными волосами, которого звали «Яшу», ослепленный и разозленный пригоршней песка, которую ему бросили в лицо, вынудил Тадзио к борьбе, которая скоро кончилась тем, что прекрасный, но слабый Тадзио упал на землю. Но угодливость низшего в этот прощальный час, как видно, обернулась грубой беспощадностью. Стремясь отомстить за долгое рабство, победитель не отпустил поверженного противника, прижимая его спину коленом, он так настойчиво вдавливал лицо Тадзио в песок, что тому, и без того запыхавшемуся от борьбы, грозила опасность задохнуться. Его судорожные попытки сбросить с себя тяжеленного малого постепенно прекратились и стали разве что легкими подергиваниями. В отчаянии Ашенбах уже готов был ринуться на помощь, но тут силач смиловился над своей жертвой. Тадзио, очень бледный, приподнялся и несколько минут сидел неподвижно, опершись рукой о песок, волосы его спутались, глаза были темны от гнева. Затем он поднялся и медленно пошел прочь. Его окликнули сначала задорно, потом испуганно и просительно: он не слушал. Чернявый, раскаиваясь в своей выходке, догнал его, ища примирения. Тадзио движением плеча отвел его попытки и пошел наискосок вниз, к воде. Он был босиком, в своем всегдашнем полосатом костюме с красным бантом.

Там он постоял, в задумчивости опустил глаза и выводя ногой на мокром песке какие-то фигуры, затем вошел в разлившееся подле большого «маленькое море», где и на самом глубоком месте вода не доходила ему до колен, и, неторопливо ступая, добрался до песчаной отмели. Здесь он снова помедлил, глядя в морскую даль, и побрел влево по длинной и узкой косе земли. Отделенный от тверди водою и от товарищей своей гордой обидой, он — существо обособленное, ни с чем и ни с кем не связанное — бродил у моря, перед лицом беспредельного, и волосы его развевались на ветру. Он опять остановился, вглядываясь вдаль. И вдруг, словно вспомнив о чем-то или повинувшись внезапному импульсу, он, рукою упершись в бедро и не меняя позы, красивым движением повернул голову и торс к берегу. Тот, кто созерцал его, сидел там, сидел так же, как в день, когда в ресторане этот сумеречно-серый взгляд впервые встретился с его взглядом. Голова его, прислоненная к спинке кресла, медленно обернулась, как бы повторяя движение того, вдалеке, потом поднялась навстречу его взгляду и упала на грудь; его глаза теперь смотрели снизу, лицо же приняло вялое, обращенное внутрь выражение, как у человека, погрузившегося в глубокую дремоту. Но ему чудилось, что бледный и стройный психагог издали шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указывает ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство. И, как всегда, он собрался последовать за ним.

Прошло несколько минут, прежде чем какие-то люди бросились на помощь Ашенбаху, соскользнувшему на бок в своем кресле. Его отнесли в комнату, которую он занимал. И в тот же самый день потрясенный мир с благоговением принял весть о его смерти.